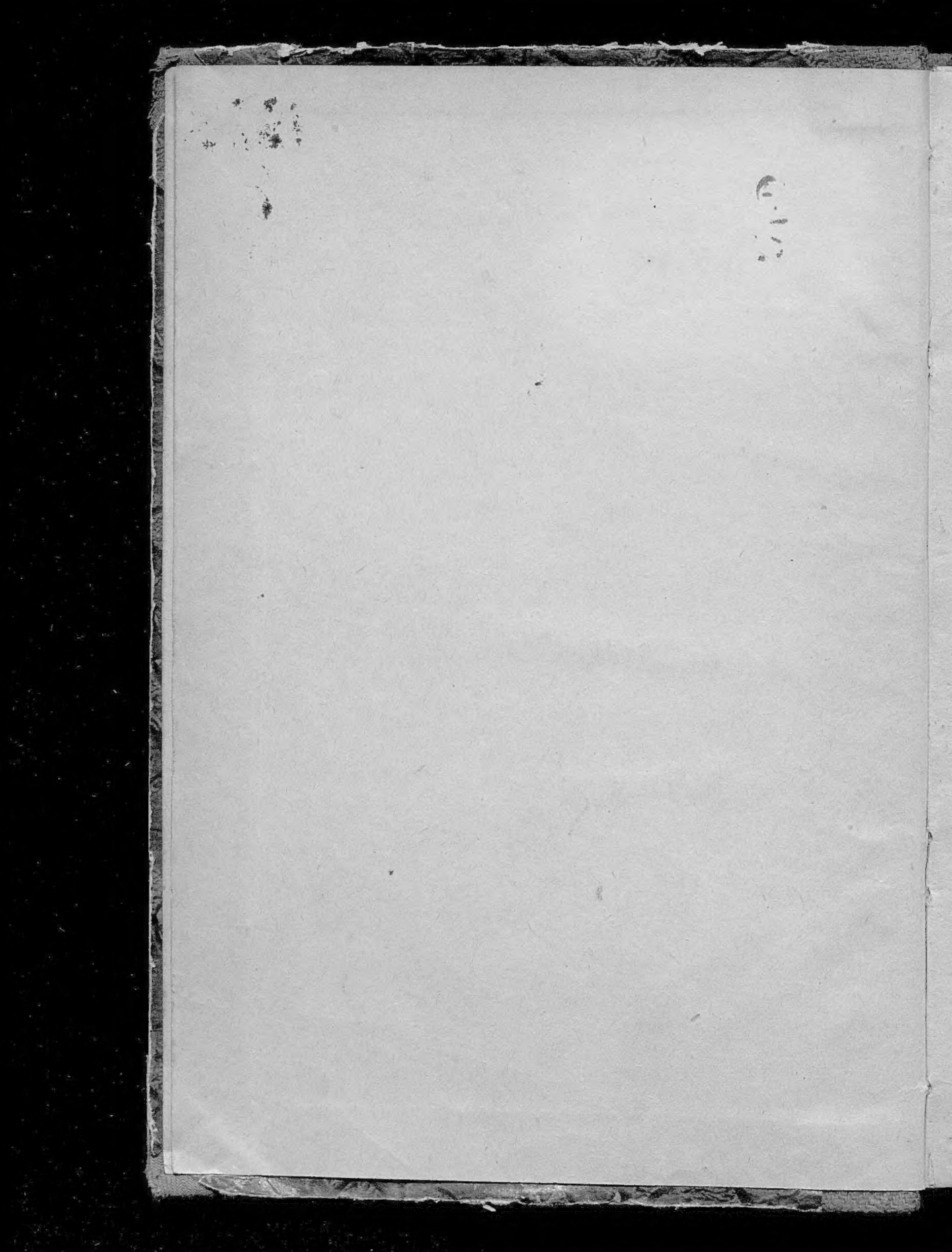
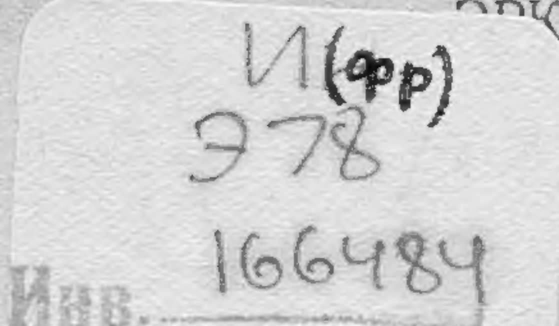
ЭРКМАН-ШАТРИАН

…СПОМИНАНИЯ …ПРОЛЕТАРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПУТЬ К ЗНАНИЮ“





ЭРКМАН-ШАТРИАН

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОЛЕТАРИЯ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ек. ЗАМЫСЛОВСКОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПУТЬ К ЗНАНИЮ"
ПЕТРОГРАД — 1923

ПРЕДИСЛОВИЕ.

„Воспоминания Пролетария“ рисуют февральские дни в Париже в 1848 году.

Революция 48 года для нас представляет огромный интерес. Ее можно рассматривать как прообраз нашей революции 17 года. Всякий, кто прочтет „Воспоминания Пролетария“, заметит сходство тех „Февральских дней“ с нашими „Февральскими днями“. Так же, как и у нас, в Париже в революционном порыве сошлись сперва все слои общества и сравнительно легко сбросили монархию. Так же, как и у нас, буржуазия поспешила воспользоваться плодами победы, одержанной руками трудящихся. Так же, как и у нас, эти массы вначале были неорганизованы—плохо сознавали свои классовые интересы, потому что состояли не из одних только рабочих, но также из ремесленников, мелких служащих и других лиц, занимающих в классовом обществе промежуточное положение.

Разница между революцией 48 года в Париже и нашей нынешней революцией начинается с того момента, когда руководство массами берет на себя компартия, сумевшая с необычайной быстротой сорганизовать пролетариат и привлечь на свою сторону все полупролетарские слои общества.

Только благодаря этому не пришлось Петрограду пережить того ужасного поражения революции, какое пережил Париж в достопамятные июньские дни того же 1848 года.

Но „Воспоминания Пролетария“ обрываются на описании февральской победы. Этот рассказ необычайно

живо и с полной художественной правдой передает настроение ремесленника, а не заводского рабочего. Жан-Пьер, герой рассказа, родом крестьянин, вырос в мелкомещанской среде в глухой провинции. Он назван пролетарием только потому, что у него нет еще никакой собственности, ничего кроме рабочей силы, которую он продает для того, чтобы прокормиться. Но при некоторой удаче он сам может стать впоследствии таким же хозяином мастерской, как Нивуа в Саверне, как Браконо в Париже. Именно эта возможность и сближает так подмастерье Жан-Пьера с мастером Перриньоном. Фигура Перриньона очень интересна—он республиканец революционер, пострадавший в свое время, но как он злобно ненавидит настоящих последовательных революционеров—коммунистов и социалистов; как умело внушает он эту ненависть своему ученику Жан-Пьеру. Вот такие-то республиканцы и расстреливали рабочих в Париже в июньские дни.

Мелкомещанская психология была сильна и в наших трудящихся массах в 17-м году, потому что они вначале могли поверить нашему политическому болтуну, очень похожему на Ламартина. Стоит только прочесть в конце рассказа описание первого выступления временного правительства в Париже, чтобы перед глазами встало наше временное правительство со своим многоречивым председателем во главе. Такое сходство вполне понятно,—при одинаковых условиях появляются схожие фигуры. Всякий политический деятель, стремящийся в классовом обществе занять межклассовую промежуточную позицию, должен неизбежно стать болтуном. Во время великой борьбы нельзя быть ни в тех, ни в сех, этому научила наша октябрьская революция, убравшая с политической арены всех межеумочных болтунов. В 48 году во Франции пролетариат был еще недостаточно сплочен и сорганизован, тайный Союз Коммунистов, выпустивший за 2 недели до Февральских дней свой Коммунистический Манифест, написанный Марксом и Энгельсом, еще не успел сорганизоваться во Франции

в мощную рабочую партию, и потому революция была раздавлена. Республиканский генерал Кавеньяк с холодной жестокостью расстреливал рабочих в июньские дни, сам старый республиканец Араго, которого Жан-Пьер считал самым „гениальным человеком в Европе“, вел отряды национальной гвардии на приступ против рабочих на площади Пантеона в те же июньские дни.

Рассказ Эркмана-Шатриана „Воспоминания Пролетария“, немного сокращенный для настоящего издания, с интересом прочтется теперь, когда наши собственные Февральские дни у всех еще в памяти.

Ек. Замысловская.

Воспоминания Пролетария.

I.

Мне было девять лет, когда в июле 1837 г. умер отец мой Николай Клавель, дровосек в Сен-Жан-де-Шу. Соседка наша, вдова Рошар, взяла меня к себе на две или на три недели, и никто не знал, что со мною будет. Вдова Рошар не могла оставить меня у себя; она говорила, что вся наша мебель и все остальное имущество не оплатит и свечей похоронных, что отец мой хорошо сделал бы, если бы взял меня с собой.

Услыхав это, я испугался и подумал:

— „Господи, кто же приютит меня?“

В продолжение этих трех недель мы собирали чернику и землянику в лесу и продавали их в городе; я легко мог набрать в день кружек пять, шесть; но время черники быстро проходит, а орехи поспевают гораздо позднее осенью, носка же хвороста была мне еще не под силу.

Мне часто приходила мысль, что я был бы счастливее, если бы умер.

В конце третьей недели, раз поутру, когда мы стояли у нашего крыльца, тетушка Рошар сказала мне:

— Смотри-ка, это двоюродный твой брат Герло, рыбак-торговец; что ему понадобилось в наших местах?

И я увидел приближавшегося толстого, коренастого мужчину, с жирным рябым лицом, круглым носом, в большой плоской шляпе, надвинутой на глаза, и в штиблетах на коротких ногах.

— Здравствуйте, господин Герло,—сказала ему тетушка Рошар.

Но он прошел мимо, ничего не отвечая, и, отворив дверь дома моего отца, крикнул:

— Никого?

После этого он отворил ставни, а почти вслед за ним в дом вошла высокая рыжая женщина, одетая по праздничному, с длинным носом и красным лицом. Тетушка Рошар сказала мне:

— Это двоюродная сестра твоя, Гокар, она продает тоже рыбу; если они выудят что-нибудь у вас, так будут молодцы.

Вслед затем стали появляться: мировой судья господин Доломье из Саверна; секретарь его, господин Лятум, двоюродные сестры, тетки, все хорошо одетые; и, наконец, после всех вошел мэр, г. Биндер, в своей большой трехугольной шляпе и красном жилете. Когда он проходил, тетушка Рошар спросила его:

— Зачем это весь народ пошел к Николаю Клавелю, господин мэр?

— Для ребенка,—сказал он, останавливаясь и стью поглядев на меня.

Видя, что я стыжусь своей жалкой куртки, штанов, босых ног, он прибавил:

— Бедняжка!

После этого он вошел. Через несколько минут тетушка Рошар велела мне тоже войти, чтобы посмотреть, что там делается, и я поместился около оч

Весь этот люд сидел вокруг нашего старого сто по скамейкам, и все они спорили между собою, упрекая отца моего и мать, что они женились, ничего не скопили, что они лентяи и в других подобных, одинаково несправедливых вещах, потому что бедный отец мой умер от тяжелого труда. Все кричали, и никто не хотел взять меня. Господин мировой судья, человек серьезный, с высоким лбом, слушал и время от времени, когда они уже слишком громко говорили, перебивал их, говоря, что я не виноват в этом несчастии... что упрекать отца моего и мать незачем... что надо все

прощать несчастным, хотя бы они и были виноваты... что надо в особенности заботиться о детях, и т. д.,—но ярость этих людей все более и более увеличивалась. Я сидел у очага, не говорил ни слова и точно замер. Никто из кричавших не смотрел на меня.

— Надо однако ж сговориться,—сказал наконец мировой судья.—Ведь ребенок этот не может же оставаться на шее у общины... Ведь вы люди богатые, зажиточные... это будет позором для семейства. Господин Герло, говорите!

Тут толстый рыбак-торговец встал и в ярости сказал:

— Я кормлю своих детей, этого с меня довольно!

— И я говорю то же самое,—крикнула высокая рыжая женщина.—Я кормлю своих детей, а до других мне дела нет.

И все сердились до бешенства, что их заставили потерять день из-за того, до чего им нет никакого дела. [illegible]ровой судья сидел совершенно бледный.

[illegible] До этого ребенка,—сказал он,—гораздо более [illegible] вам, чем общине, как мне кажется: это кровь [illegible]! Будь он богат, вы были бы его наследниками, тогда, я думаю, вы не бросили бы его.

— Богат, он!—кричал рыбный торговец.—Ха! ха! ха!

Я же, глядя на все это, начал рыдать; и когда [illegible] удья встал, я вышел, заливаясь слезами. Сел [illegible] домом на маленькой скамейке у дверей; двою[illegible] братья и сестры выходили, делая вид, что не [illegible]ют меня. Кузен мой Герло отдувался и, поправляя большими пальцами подтяжки под сюртуком, говорил:

— Жарко... чудный день! Слышали, тетушка Рошар?

— Что?

— Послезавтра спускают Зеллеровский пруд; не войти ли нам в половину?

Все уходили один за другим, мировой судья, секретарь, мэр, родственники и родственницы, и тетка Рошар проговорила:

— Славно, нечего сказать.... Никто тебя не берет!

Я плакал, не переводя духа и, сидя с мокрым от слез лицом, я только слышал, как мои родственники уходили, и как кто-то спускался по дорожке между фруктовыми садами, и как, несмотря на зной, шумели деревья.

— А! здравствуйте, тетушка Бале,—вскричала Рошар.— Так вы приходите сюда каждый год покупать вишни?

— Ну да,—отвечала проходившая.—Я не делаю вишен, а продаю их; а чтобы продавать их, надо купить.

— Конечно. А на деревьях достаешь их свежее.

Я не поднимал глаз и был в совершенном отчаянии. Когда женщина эта остановилась, я слышал, как она спросила:

— О чем это плачет мальчуган?

И тетушка Рошар тотчас же начала рассказывать ей, что отец мой умер, что у нас ничего нет, что родственники отказались от меня, и что я остался на руках у общины. Тут я почувствовал, что женщина эта тихо гладила меня по голове и, совершенно расстроенная, сказала:

— Ну-ка, взгляни... мне хочется посмотреть-на-тебя.

Я поднял голову. Передо мной стояла высокая, худая женщина, уже старая, с довольно большим носом, большим ртом и белыми зубами. У ней были большие серьги в виде колец, голова была обвязана шелковым желтым платком, а под мышкой она держала корзину с вишнями. Она смотрела на меня, продолжая гладить меня по голове своей длинной рукой:

— Как, они отказываются от него? Да это миленький брюнет... Они отказываются от него?

— Отказываются,—отвечала тетушка Рошар.

— С ума они сошли, что-ли?

— Нет, но они не хотят брать на себя этой обузы.

— Обузы?... этакой мальчик! У тебя ничего нет?... ты не горбат?... не хромаешь?

Она тормошила и повертывала меня во все стороны, и с удивлением восклицала:

— Да, у него все в порядке!

И затем она сказала мне:

— Охота тебе плакать, дурачок? Ах, они негодяи! Так они не желают взять такого ребенка?

Наш мэр, проводив господина мирового судью до конца деревни, возвращаясь, тоже сказал:

— Здравствуйте, госпожа Бале.

А она, обернувшись, вскричала:

— Правда ли, что этого мальчика не берут?

— О Господи, конечно, правда,—отвечал мэр,—и он остается на шее у общины.

— Я беру его к себе.

— Вы берете его, госпожа Бале?—сказал подошедший мэр, выпучив глаза от удивления.

— Да, я беру его на свой счет, разумеется, если это позволит община.

— Общине лучше и желать нечего.

Услыхав это, я ожил, а госпожа Бале обтирала мне лицо и спрашивала:

— Ел ли ты?

Тетушка Рошар отвечала, что мы ели утром картофельный суп.

Тогда она, вынув из кармана кусок белого хлеба, дала его мне, говоря:

— Да возьми из корзины вишен и пойдем.

— Подождите, я подам его узелок,—вскричала тетушка Рошар, побежав, чтобы завязать в платок мои башмаки и праздничное платье.

— Вот все твое наследство!

И мы отправились.

— А! тебя не хотели взять!—говорила госпожа Бале,—ведь есть на свете дураки! Это ни на что не похоже, ей-богу, ни на что не похоже. Как тебя зовут?

— Меня зовут Жан-Пьер Клавель.

— Хорошо, Жан-Пьер, я беру тебя и очень рада еще, что ты со мною. Возьми меня за руку.

Она была очень высокого роста, и я шел подле нее, подняв вверх руку.

Перед маленьким кабачком *Еловой шишки*, в конце деревни, стояла таратайка угольщика Ильи, а в тени навеса его маленькая рыжая кляча, похожая на козу; в таратайке уложены были три корзины с вишнями.

Старик Илья, в широкой черной шляпе и в короткой холщевой куртке, смотрел сверху лестницы и, увидав нас, воскликнул:

— Что же, едем мы, госпожа Бале?

— Да, сейчас. Подождите, я выпью только стакан вина, а вы посадите ребенка в таратайку.

— Да ведь это ребенок Николая Клавеля?

— Так! а теперь он мой.

Трактирщик Бастьен, его обе дочери и какой-то гусар смотрели из окна кабачка. Госпожа Бале, поднимаясь на лестницу, рассказывала, что я плакал, как бедный щенок, брошенный негодяями хозяевами, и что она берет меня. В то же время она весело говорила:

— Посмотрите на него! Его точно нарочно сделали по моему вкусу, лучшего и желать нечего. Ну, закладывайте проворнее, Илья, и посадите ребенка с вишнями.

Гусар, обе девушки и дядя Бастьен кричали:

— Отлично, госпожа Бале! отлично!... Это принесет вам счастье.

Она же, не говоря ни слова, вошла выпить стаканчик вина. И затем, выйдя, крикнула:

— Отправляемся дальше!

Мы начали спускаться под гору. Я ехал на таратайке, чего никогда в жизни со мной не бывало; Илья шел спереди, держа под уздцы свою клячу, а госпожа Бале шла сзади и ежеминутно говорила мне:

— Ешь же вишни, не стесняйся; но только, смотри, не глотай косточек.

Легко себе представить мою радость и восторг, что я был спасен. Я не мог прийти в себя от удивления. И с верху таратайки, тихо спускавшейся по глубокой дороге, окаймленной дерном, я смотрел в конец долины на Саверн, с его старой квадратной церковью, с его большой улицей и остроконечными старыми кровлями,

по которым идут этажами слуховые окна, в виде колпаков, с площадью и колодцем, освещенными солнцем.

Сотни раз видел я все это из Рош-Креза, но тогда я заботился только о том, чтобы пасти хорошенько коров и собирать в кустарниках коз. А теперь я думал: „Ты будешь жить в городе, в тени улиц!“

Подле прелестного колодца, окруженного ольхами и плакучими ивами, около дороги, тощая кляча Ильи остановилась на минуту перевести дух. Госпожа Бале напилась залпом воды, наклонившись к жолобу. Жар

[illegible]шный, и приятно было бы остаться тут до[illegible] [illegible]Но после этого мы опять тихо поехали в тени [illegible] до самого въезда в Саверн.

[illegible]дав издали хорошенький домик, крытый голубо[illegible]ватым аспидом, с маленьким балконом и с зелеными ставнями по всем сторонам, стоявший на полугоре, я подумал, что в нем живет верно какой-нибудь принц.

Итак, мы въезжали в город часам к трем; стали подниматься по большой дороге, а на половине ее, недалеко от базарной площади, повернули направо в маленькую улицу „Двух ключей“, по которой тень от солнца спускалась между труб на проточенные балконы и развалившиеся стены. Тетушка Бале говорила, смеясь:

— Сейчас приедем, Жан-Пьер.

Я таращил глаза, не видав никогда ничего подобного. Вскоре таратайка остановилась перед старым узким

домом, внизу которого было окно,—более широкое, чем высокое, с маленькими круглыми стеклами, за которыми висели связки льна.

Это был дом ткача. Какая-то женщина лет тридцати пяти или сорока, с темными волосами, свернутыми на щеках в виде буколь, с голубыми глазами и несколько вздернутым носом, смотрела на нас из маленьких темных сеней.

— Э! да это вы, госпожа Бале?—вскричала она.

— Да, госпожа Дюбург,—отвечала тетушка Бале,—я привезла вам еще кое-кого... моего маленького Жан-Пьера, которого вы еще не знаете. Посмотрите-ка на этого бедного волченка.

Она взяла меня на руки и поцеловала, поставив на землю.

После этого мы вошли в маленькую серую комнату, где все углы были заполнены хламом: станком, чугунной печкой, столом и мотками, повешенными на шестах у потолка. Между корзинами с катушками, старым креслом и часами в глубине комнаты, в футляре орехового дерева, трудно было повернуться. Но, несмотря на это комната была все таки гораздо лучше нашей бедной лачужки, в которой жил отец; после наших четырех голых стен и дровяного сарайчика сзади, почти вечно пустого, эти мотки льна и свертки холста казались мне великолепием. Да, это казалось мне необыкновенным богатством.

Госпожа Бале рассказывала, как она меня взяла. Другая женщина ничего не говорила и глядела на меня. Я прислонился к стене, не смея поднять глаз. Когда тетушка Бале вышла помочь выгрузить вишни, женщина эта вскричала:

— Дюбург, иди же!

И я увидел, что в дверь направо, завешенную мотками, вошел маленький и худенький мужчина, с седоватой головой и добродушным лицом, за ним вошла маленькая розовенькая девочка с живыми глазками, державшая в руке большой кусок хлеба с белым сыром.

— Посмотри-ка, что тетушка Бале привезла нам из Саверна,—сказала эта женщина;—родственники его Гокар и Герло не хотели его взять, а она взяла его на свою шею.

— Хорошая женщина, эта тетушка Бале,—отвечал тронутый мужчина.

— Да, но как навязать себе такую обузу?

— Ну, что такое!—сказал мужчина,—она одна... а ребенок полюбит ее.

— Но у него нет ничего!—вскричала женщина;—она развязала узелок мой, положив его к себе на колени, и осматривала мою жалкую праздничную куртку, рубашку и башмаки,—у него вовсе ничего нет! Куда положит она его спать?

— И!—вскричала тетушка Бале, входя и ставя на край станка последнюю корзину с вишнями,—не тревожьтесь, госпожа Мадлен. У меня есть дядя, каноник испанский, вы ведь знаете... он девяностолетний старик, и ему не век же жить... Мне достанется его наследство... Это поможет мне воспитать ребенка.

Она смеялась; а госпожа Дюбург, жена ткача, вся вспыхнула.

— А!—сказала она,—испанский ваш дядя...

— А отчего бы у меня не быть дяде?—отвечала тетушка Бале.—Ведь у вас же вот есть тетка в Сент-Витте. А когда оба ребенка вырастут, мы обвенчаем их и соединим оба наследства, и дяди, и тетки. Не так ли, господин Антуан?

Тогда маленький человек сказал, смеясь:

— Да, госпожа Бале, да, вы правы: наследство после вашего дяди так же верно, как и наследство после нашей тетки Жаклины. Но, взяв этого ребенка, вы поступили хорошо... очень хорошо!

— Да я и не раскаиваюсь,—сказала тетушка Бале.—Мне он не в тягость. Там у меня наверху есть старый мундир моего покойного мужа, мы выкроим ему что-нибудь из него. А подле моей комнаты есть маленький чуланчик, куда я поставлю его кровать. Мы найдем где-нибудь

матрац, одеяло, это ведь нетрудно, и малютка будет спать, как ангел. Ну, поцелуйтесь,—сказала она, подводя ко мне девочку, молча смотревшую на меня своими большими, выпученными глазами, и которая от души поцеловала меня, выпачкав при этом мне нос.

Все смеялись, а я становился храбрее. Госпожа Ривель, жена стекольщика, жившего во втором этаже, проходила в сенях; ее позвали. Это была крошечная женщина в большом коленкоровом чепце, с косынкой, скрещенной на груди, и с маленьким золотым крестиком на шее.

Тетушка Бале и ей хотела рассказать мою историю; два или три соседа слушали, облокотившись у раскрытого окна; сколько сыпалось проклятий на Гокаров и Герло—и передать нельзя: их называли негодяями и предвещали им всякие гадости. Госпожа Мадлен тоже успокоилась.

— Уж если дело сделано, то я прошу только,—говорила она,—чтобы он не очень шумел в доме. Ведь мальчики...

— Ну!—отвечал дядя Антуан,—когда станок ходит, ничего не слышно. Надо, чтобы дети веселились, и наша девочка будет рада товарищу.

Наконец тетушка Бале поставила корзину к себе на голову и сказала мне:

— Идем, Жан-Пьер. В ожидании наследства, идем-ка варить хорошие щи, а потом позаботимся, как лечь спать.

Она вышла в сени, и я взял ее за руку, очень довольный, что иду с ней.

II.

Нам надо было подняться три этажа: в первом этаже помещались Дюбурги, во втором—Ривели, а в третьем, под крышей,—мы. Все было серо и источено червями; маленькие окошечки на лестнице выходили во двор, по которому тянулась старая галлерея, где Дюбурги сушили белье. Там можно было слышать осенью мяуканье и драку кошек по ночам; они почти не давали заснуть.

Над галлереей была голубятня, с остроконечной крышей и ржавыми большими гвоздями, воткнутыми вокруг слухового окна, для того, чтобы не могли пролезать туда хорьки. Но аспид обваливался с каждым днем, и голуби уже давно там более не гнездились.

Все это я видел, подымаясь в нашу комнату. Тетушка Бале вела меня за руку по темной узенькой лестнице и говорила:

— Держись прямо! выпрямь плечи! ходи хорошенько! Я говорю тебе, что ты будешь молодцом; но надо быть потверже, не надо плакать.

Наверху она отворила дверь, запиравшуюся на защелку, и мы вошли в большую комнату, выбеленную известкой, с двумя выходящими на улицу окошечками, с чугунной печкой посреди, труба которой шла зигзагом, и с большим дубовым столом в глубине, на котором тетушка Бале рубила себе лук, петрушку и другие овощи для своей стряпни.

Над столом на двух полках помещались разрисованные тарелки, круглая миска и две или три бутылки с стаканами; в одном ящике шкапчика лежали оловянные ложки и вилки, а в другом — свечка, спички и огниво; внизу стоял большой кувшин для воды.

Большая кровать с желтыми занавесками, помещавшаяся в углублении, большой сундук, покрытый ковриком в ногах около кровати и три стула довершали всю нашу обстановку.

На стене висел, над столом, портрет господина Бале, старого капитана 37 линейного полка, в большой треугольной шляпе с двумя нашивками поперек плеч, с светло-серыми глазами, рыжими усами и смуглыми щеками, и, казалось, будто глядел на каждого приходящего. Это был видный мужчина, державший прямо голову, в тугом высоком воротнике; тетушка Бале говорила иногда:

— Это Бале, мой покойник, который умер на поле чести 21 июля 1813 г., во время отступления при Витторин, в арьергарде.

После этого она задумывалась, сжимала губы, продолжала стряпать и впродолжение нескольких часов не говорила ни слова.

Слева от большой комнаты шла дверь в чуланчик, исправлявший роль чердака в доме; слуховые окна его оставались летом открытыми; но когда в конце ноября начинал падать снег, то их затыкали соломой. В чуланчике на решетке лежали в три ряда фрукты и распространяли приятный запах.

Справа была еще каморка с окном, выходившим на крышу на двор. В каморке я спал впродолжение нескольких лет; в ней было не более восьми футов в ширину и футов десять, двенадцать в длину; но в ней было хорошо, потому что большая труба, выходившая в нее одной стороной, нагревалась всем домом. Никогда в середине зимы не замерзала вода у меня в кувшине.

Сколько раз, вспоминая об этом, я восклицал:

— Жан-Пьер, не найти тебе уж такой комнаты!

Я говорю эти вещи теперь для того, чтобы об'яснить вам мое удивление, когда я попал в такое превосходное помещение.

Корзины с вишнями все стояли на полу, и г-жа Бале стала переносить их в чуланчик; потом она возвратилась с отличным кочном капусты, пореем и несколькими большими картофелинами и с довольным видом положила все это на стол. Из шкапчика она достала хлеб, соль, перец и кусок свиного сала; и так как я предвидел, что она хочет делать, то взял нож нащипать щепок. Она взглянула на меня, улыбаясь, и сказала:

— Ты славный мальчик, Жан-Пьер. Нам хорошо будет вместе.

Она высекла огня, который я развел, пока она обрезала кочан и чистила картофель.

— Да,—сказала она,—родственники твои негодяи! Но я уверена, что отец и мать твои были хорошие люди.

Эти слова заставили меня снова заплакать. Тут она замолчала. Поставив кипятиться воду и положив в нее овощи, она отворила мою комнату и сняла с своей по

стели матрац, чтобы сделать мне постель; в большом сундуке она взяла тканое одеяло и чистые простыни и, убрав все, сказала:

— Теперь будет ладно.

Я в восхищении глядел на нее. Наступил вечер. В половине восьмого она нарезала хлеба и налила супа в две толстые, глубокие тарелки, раскрашенные красными и голубыми цветочками, которые я как будто теперь вижу, и весело вскричала:

— Ну, Жан-Пьер, садись и скажи мне, вкусен ли наш суп?

— Да,—сказал я ей,—а запах какой у него славный, г-жа Бале!

— Зови меня тетушкой Бале,—сказала она,—это мне больше нравится. А теперь уписывай и не горюй.

Мы стали есть; никогда я не едал такого вкусного супу. Тетушка Бале подлила мне еще две большие ложки, и видя, что я так доволен, она сказала, смеясь:

— Ты растолстеешь, как эстремадурский монах.

После супа она дала мне еще свиного сала с хорошим куском хлеба; я благодарил создателя, что он не допустил Гокарам и Герло взять меня к себе, потому что эти скряги заставили бы меня пасти коров и есть один картофель до конца дней моих. Я говорил об этом тетушке Бале, хохотавшей от всей души и находившей, что я прав.

Стало темно; свеча горела на столе. Г-жа Бале убрала со стола и начала рыться в своем большом сундуке, раскладывая по постели все старое платье и рубашки, оставшиеся у ней после покойника. Я же, сидя на камне очага, обняв свои колени, с умилением смотрел на нее, думая, что дух отца моего вселился в нее, чтобы спасти меня. От времени до времени она говорила:

— Это еще может служить, это мы посмотрим.

Потом она восклицала:

— Что ты молчишь, Жан-Пьер? О чем ты думаешь?

— Я думаю, что я очень счастлив.

— Ну, значит мы оба очень счастливы. Нам не надо ни Герло, ни Дюбургов, никого. Мы видывали койкого получше в Германии, в Польше и в Испании... Вот и Бале поможет нам... Видишь, Жан-Пьер, как он оттуда смотрит на нас?

Обернув голову, мне показалось, что он точно смотрит на нас, и мне стало страшно; я припомнил деревенские молитвы и стал читать их про себя.

Наконец, часам к десяти, тетушка Бале воскликнула:

— Все хорошо... Ну, идем! ты верно хочешь спать.

— Хочу, тетушка Бале.

— Тем лучше! Про себя я могу сказать тебе то же самое.

Мы вошли в мою каморку, она поставила свечку на пол и уложила меня, подложив под голову подушку. Потом закрыла меня до подбородка большим одеялом с цветочками и сказала:

— Спи хорошенько, не церемонься. Ты не глупее многих других, которые никогда не стесняются. Ну..

После этого она ушла.

Мне хотелось еще подумать о моем великом счастье, но меня так клонил сон, и мне было так хорошо, что я тотчас же заснул.

III.

Никогда не спалось мне так хорошо, как в эту ночь. Какое счастье сознавать, что нашел себе гнездо! Это сознание является даже среди сна и услаждает его.

На рассвете, когда солнце стало несколько освещать окошко, я тихо проснулся. В старом доме раздавался стук станка, старик Антуан Дюбург уже пускал челнок между ниток, и стук этот мне суждено было слушать в продолжение десяти лет. Воспоминание о постукивании станка навеки осталось у меня в ушах и даже в глубине души.

Я услышал, что тетушка Бале вставала у себя в комнате. Она высекла огня, отворила окно, чтобы освежить комнату; развела огонь и надела свои толстые деревян-

ные башмаки, чтобы пойти за молоком к г-же Штарк, молочнице, жившей на углу. Я слышал, как она сошла, и подумал:

„Зачем это она пошла?“

На дворе распевал петух; по улице проезжали таратайки, город просыпался. Через несколько минут послышался стук поднимавшихся на лестницу деревянных башмаков; тетушка Бале возвратилась, приготовила кофе, поставила кипятиться молоко; потом отворила потихоньку ко мне дверь, и я увидел, как эта добрая женщина, не слышавшая, что я шевелюсь, заглянула ко мне. Видя же, что я, как заяц, гляжу во все глаза, она мне сказала:

— А! а! Видишь как... он тут нежится!.. Ах, эти мужчины, им бы только поваляться... Это уж в крови у них!.. Ну, Жан-Пьер, пора на ноги!

Я быстро встал и надел штаны. Наконец, она посадила меня к себе на колени, чтобы помочь надеть башмаки, и потом, погладив меня по голове своей длинной рукой, сказала, улыбаясь:

— Веди себя хорошенько, и ты будешь красавцем... Да... будешь красавцем... Не следует однакоже гордиться. Иди теперь, вымойся внизу у колодца; вымой лицо, шею, руки... Чистоплотность лучшее качество человека. Нечего бояться загрязнить воду, Жан-Пьер, она на то и создана.

—Да, тетушка Бале,—отвечал я ей, спускаясь со старой, крутой лестницы.

Она же, нагнувшись сверху на перила, с головой, повязанной желтым платком, и в серебряных серьгах, кричала мне:

— Смотри, не упади!.. осторожней!

После этого она вошла к себе в комнату. Внизу лестницы я увидел вход во двор слева, в конце сеней, а справа маленькую кухню Дюбургов, отворенную настежь; на очаге пылал огонь, освещая кастрюли и блюда. В кухне была г-жа Мадлен, и я тотчас же сказал ей:

— Здравствуйте, г-жа Мадлен.

И побежал к колодцу, где славно вымылся. Становилось уже жарко, лучи солнца пробивались на двор и согревали меня. На перилах галлереи сидела, поджав ноги под живот, серая кошка, и, казалось, будто спала на солнышке, а воробьи, летая, кричали и дрались в дождевых жолобах.

Я смотрел и слушал эти новые для себя вещи, обсушиваясь подле колодца, когда из глубины сеней начала кричать Аннета Дюбург:

— А, это ты, Жан-Пьер!

— Да, это я.

Мы обрадовались и вместе расхохотались, а г-жа Мадлен крикнула из кухни:

— Аннета... Аннета... не шали... оставь в покое Жан-Пьера.

Тут я быстро вбежал наверх. Тетушка Бале, увидав, что я чист и свеж, осталась довольна.

— Таким надо быть всегда,—сказала она.—Теперь напьемся кофе и потом идем на рынок.

Чашки уже стояли на столе. В первый раз в жизни пил я кофе и находил его очень вкусным, находил даже вкуснее супа. После этого надо было вымести комнаты, вымыть посуду и привести все в порядок.

Часов около семи мы отправились. Тетушка Бале несла на голове одну из корзин с вишнями, а я нес в корзине весы и гири. Таким образом мы вышли. Погода была отличная.

Вязальщик, мелочной лавочник и другие торговцы, стоя без сюртуков около своих лавок, которые они только-что открыли, смотрели на нас, когда мы проходили по большой улице. Слух, что тетушка Бале взяла на свой счет ребенка из Сен-Жан-де-Шу, уже распространился, и многие не хотели ему верить. Двое или трое из рыночных знакомых, молочница Штарк и башмачница, спрашивали у нее:

— Это ваш ребенок?

IV.

На следующий день, рано поутру, тетушка Бале великолепно разрядилась. Когда я вышел из моей комнаты часов около семи, я увидел на ней очень нарядное платье с зелеными цветами; из своих седых волос она сделала две большие взбитые букли над ушами и надела большой белый чепец, что придавало ей почтенный вид.

— Садись, Жан-Пьер, —сказала она,—надо позавтракать. Через полчаса мы отправимся.

Потом она надела на меня чистую рубашку, новые башмаки и мою бархатную куртку; она открыла большой сундук и достала из него очень хорошую шаль, которую надела на плечи перед нашим маленьким зеркальцем; бахромка шали почти касалась полу у подола платья. Когда все было прилажено, она повела меня.

Я никогда не видывал школы в Саверне, и это беспокоило меня, но так как г-жа Бале шла передо мной, то мне поневоле приходилось итти за ней.

Внизу, в темных сенях, из дверей своей кухни выглянула госпожа Дюбург и с удивлением смотрела нам вслед. На улице тетушка Бале взяла меня за руку и сказала:

— Войдя в школу, сними шапку.

Мы пошли по маленькой улице, и вдруг перед старым домом, выходившим углом на две улицы, я услышал бездну голосов, кричавших вместе: *б-а-ба! б-е-бе! б-и-би!* и т. д. От крика стекла старого дома дрожали; а между этими детскими голосами какой-то страшный голос кричал:

— Матерн! Постой! вот я встану!

Это был голос г. Васеро, кричавшего на Матерна.

Мы пришли в школу. От звука этого голоса у меня уж забегали мурашки по спине. В это же время мы вышли на маленький дворик, где несколько детей застегивали себе подтяжки, и тетушка Бале сказала мне:

— Идем!

Она пошла влево в темный коридор, куда и я пошел за нею. В конце сеней была дверь с маленьким квадратным окошком посередине; там-то и пелось посреди страшного гама *б-а-ба!*

Тетушка Бале отворила дверь. В ту же минуту все смолкло, и я увидел большую залу, ряды желтых столов, закапанных всюду чернилами, скамейки, где сидели дети в деревянных и кожаных башмаках и босые, и в течение нескольких лет протирали себе штаны; прописи, повешенные на веревочках, висели вдоль окон; направо за дверью помещалась большая чугунная печка; с той же стороны на стене висела черная доска, а налево, между двух окон, стояла кафедра, где сидел г. Васеро, в черной шелковой шапочке, вздернутой на затылок, с большой плеткой, сложенной на пюпитре. Он сидел величаво, положив на пюпитр руку, вытянув два пальца, и писал пример.

В комнате толпились дети от шести до двенадцати лет; старшие сидели вокруг столов, младшие—на тройном ряде скамеек, против кафедры.

Два или три мальчика подавали перья школьному учителю, говоря нараспев:

— Потолще, пожалуйста, г. Васеро!

— Среднее, пожалуйста, г. Васеро!

Он не трогался с места; он писал.

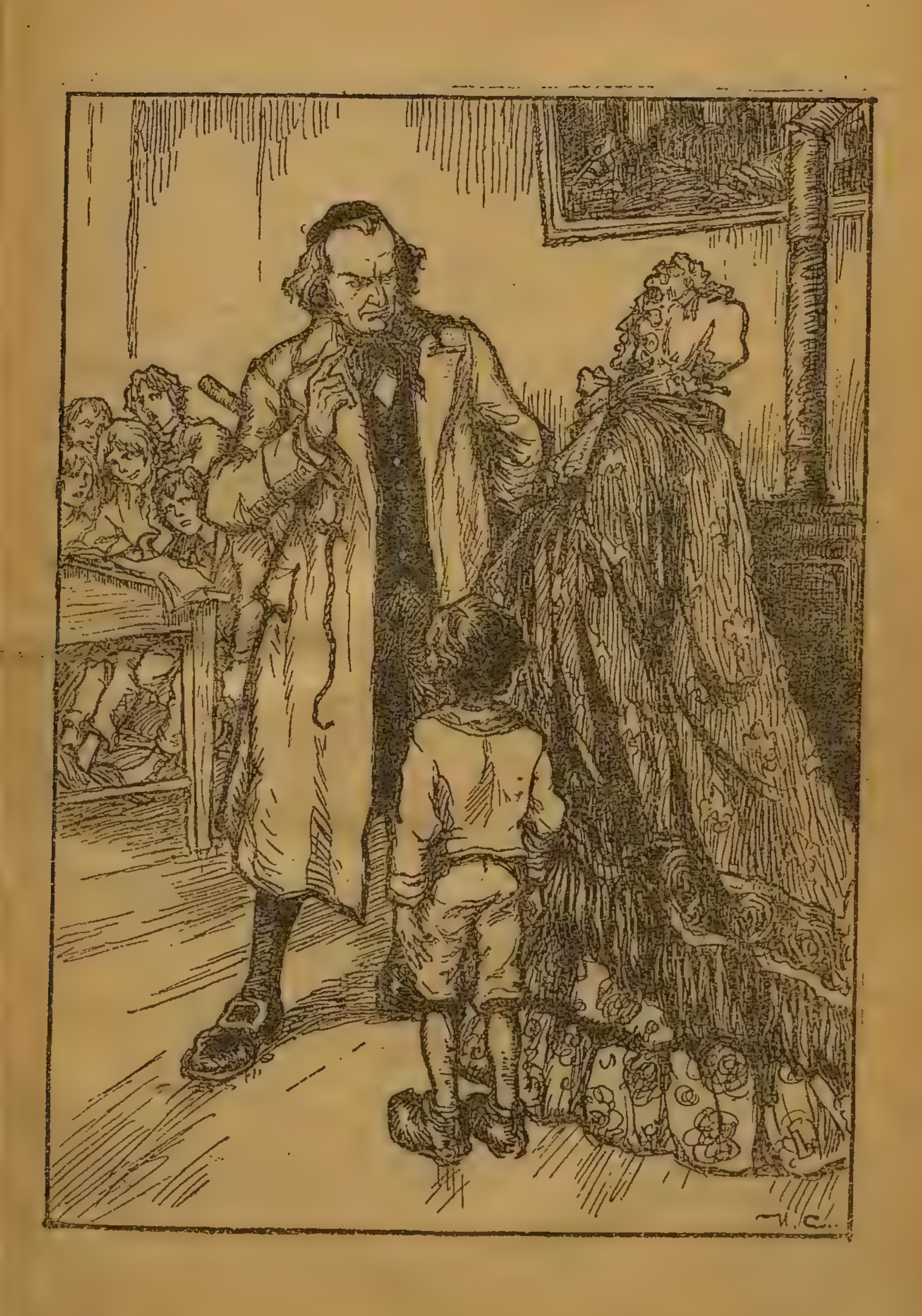
Я сразу все это заметил. Вся зала повернулась, чтобы посмотреть, кто вошел: все жирные, толстощекие, белокурые растрепанные дети смотрели на нас, наклонившись.

Так как все в зале сразу замолчали, то г. Васеро поднял глаза и увидал тетушку Бале и меня в дверях. Он встал и поднял свою черную шелковую шапочку, чтобы поклониться.

В эту минуту в зале было бы слышно, если бы пролетела муха. Тетушка Бале сказала:

— Наденьте шапочку, г. Васеро.

И они, встав друг перед другом, начали говорить обо мне.



Тетушка Бале была высокая и статная, а дядя Васеро, в коричневом сюртуке и в большом черном жилете, казался серьезным и строгим; он носил еще старомодные нанковые штаны и большие башмаки с серебряными пряжками. Лицо у него было суровое, немного бледное, подбородок широкий, нос прямой, красивый, глаза карие, и между бровями шла морщинка; под рукою у него лежала плетка, что вовсе не придавало ему добродушного вида, так что я подумал:

„Если он будет учить меня четырем правилам, то надо будет держать ухо востро“.

Мы стояли посреди залы, и вся школа слушала. Г. Васеро, повидимому, чувствовал большое уважение к госпоже Бале, которая, гордо подняв голову, сказала ему:

— Вот, г. Васеро, я привела вам мальчика; это ребенок из Сен-Жан-де-Шу; я его взяла потому, что негодные родные отказались от него, и хочу хорошенько воспитать его. Обратите на него внимание и научите его всему, что должен знать человек... Я уверена, что он извлечет пользу из ваших уроков.

— Если они не принесут ему пользы,—отвечал дядя Васеро, искоса взглянув на меня,—то сам будет виноват, потому что я употреблю все свои силы.

Он посмотрел на меня прямо.

— Как тебя зовут?—спросил он.

— Жаном-Пьером.

— А твоего отца?

— Отца моего звали Николаем Клавелем.

— Ну так, Клавель, знаешь ли ты что-нибудь? Буквы знаешь?

— Нет, не знаю.

— Ну, так садись вон на маленькую скамейку. Госсард, дай ему свою азбуку. Вы можете читать по одной книге.

В то время, как г. Васеро говорил со мною таким образом, пять или шесть мальчиков, постарше вместо того, чтобы учиться, смеялись, и тут я увидел нечто, укрепившее меня в намерении вести себя хорошо. Дядя Васеро,

услыхав смех, обернулся и увидел красного Матерна, делавшего знаки Гурдье.

Ни слова не говоря, он подошел и взял его за ухо, которое вытягивалось и сокращалось. Повидимому, он вовсе не сердился, но мальчик Матерн разинул рот так, что видна была вся глотка, и, выпучив глаза, вздыхал до такой степени громко, что слышно было всей зале, где все тотчас же принялись за работу.

— Итак, г-жа Бале,—сказал дядя Васеро, возвращаясь как будто ни в чем не бывало,—вы можете положиться на меня; мальчик ваш воспользуется моими советами, отвечаю вам за него. Клавель, поди сядь, куда я тебе велел.

Я пошел сесть на край маленькой скамьи, раздумывая: „Да, я воспользуюсь... надо воспользоваться!"

— Ну, так, г. Васеро, это решено,—сказала тетушка Бале.—А остальное уж мое дело.

Они вместе вышли в маленькие сени, и, пока разговаривали там, все стали вертеться, смеяться, перекликаться и бросаться бумажными шариками. Но лишь только послышались шаги медленно возвращавшегося г. Васеро, как все наклонились над столами, делая вид, что пишут или учат урок. Он же повернул глаза направо и налево и сел за кафедру, сказав:

— Начните азбуку. Клавель, следи по книге Госсарда.

Все запели А, Б, В, и я следил с таким вниманием, что не смел даже взглянуть на того, кто показывал мне буквы.

Дядя Васеро чинил перья. Время от времени он проходил по зале с плеткой под мышкой и осматривал работы больших мальчиков. Если буквы были скверно написаны, он обзывал их ослами и сам поправлял ошибки. За полчаса до окончания урока он опять сел за кафедру и крикнул маленьким:

— Остановитесь!

После этого ему стали отвечать уроки.

— Что такое грамматика?—Что такое член?—Что такое глагол? и т. д.

Иногда он вызывал маленьких и спрашивал у них буквы.

В десять часов утра первый ученик первого класса читал молитву; она повторялась в четыре часа дня и едва он произносил: „аминь!“, как все школьники вскакивали со скамеек и с мешками за спиной или же с тетрадкой под мышкой бежали, крича и резвясь вплоть до дому.

Сотни раз г. Васеро запрещал нам кричать, но, выскочив на улицу, мы теряли страх, да и кроме того надо же было нам ребятам порезвиться.

В первый день, когда прочли молитву и стали убегать, говоря: „прощайте, господин Васеро!“, я так обрадовался, выбравшись на воздух, что в один миг очутился дома и взлетел наверх, крича:

— Кончено!

Старик Антуан Дюбург не мог утерпеть, чтобы не засмеяться, и даже старик стекольщик Ривель поднял нос кверху, посмотрел в свои большие очки, как я бегу по лестнице, и сказал своей жене:

— Вот, Катерина, лучшее время жизни; тогда не думают ни о завтраке, ни об обеде; когда кончится класс, значит, наработался на целый день. Не воротится уж этому времени.

Тетушка Бале тоже была очень довольна.

V.

С этого дня школа была мне знакома: я знал, как надо петь на вытяжку *б-а-ба*, подмечать малейшие движения г. Васеро и делать вид, что занимаюсь с Госсардом, а самому смотреть, как летают мухи.

Утром, тотчас после класса, я отправлялся на площадь, в наш балаган, к тетушке Бале, и она меня почти всегда спрашивала:

— Ну что, Жан-Пьер, идет?

А я отвечал:

— Да, но всетаки трудно.

— И,—говорила она,—на этом свете все трудно. Если бы яблоки и груши катались по большой дороге, то не садили бы деревьев; если бы хлеб сам шел в карман, то не сеяли бы зерен, не желали бы дождя и солнца, не жали бы и не складывали бы в снопы, не веяли бы и не носили бы мешки на мельницу, не мололи бы, не везли бы муку к булочнику, не месили бы тесто и не пекли бы; все это было бы очень удобно, но этого не может быть, и следовательно надо, чтобы люди помогали всему этому. Все, что растет само по себе, никуда не годится, как чертополох, крапива, репейник и трава в болотах. И чем больше прилагают стараний, тем лучше выходит дело; так, например, для винограда, на возвышенностях, среди камней, надо носить навоз в корзинах; это ведь тоже трудно, Жан-Пьер, но зато и вино вкусно. Если бы ты видел, как в Испании, на юге Франции и вдоль Рейна работают на солнце, чтобы добыть вина, то сказал бы: „какое еще счастье сидеть в тени и учиться тому, из чего всю жизнь можно извлекать пользу!“. Теперь тебя пашет и в тебя сеет старик Васеро, а потом кто же будет жать? у кого будет на полке хлеб? У тебя! Я это делаю потому, что ты мне нравишься, и надо этим пользоваться. Я не век ведь буду с тобой. Пользуйся, пользуйся!..

Эти вещи задевали меня за живое, и я старался; мне хотелось все знать, чтобы радовать тетушку Бабе.

Надо и то сказать, что господин Васеро не был мною недоволен, потому что через неделю я знал буквы, и он говорил даже вслух:

— Посмотрите-ка на Клавеля, он выучился буквам в одну неделю, тогда как этот большой рыжий осел Матерн, и этот бездельник Гурдье в три года только выучились разорять гнезда и вырывать из огородов морковь после классов. Ах, негодяи!.. Ах, вы, скверное отродье!

Говоря это, он сердился и кончал тем, что бросался на них, так что школа оглашалась ужасными криками, а господин Васеро повторял без устали:

— Если вас когда-нибудь повесят, меня нельзя будет упрекнуть, потому что, слава богу, не мало я стараюсь исправить вас. Я трачу больше плеток на этих Матернов и Гурдье, нежели на всех остальных вместе, и все-таки это ни к чему не ведет, они становятся все хуже и хуже, и ко мне приходят ежедневно с жалобами, как будто я в этом виноват.

Около этого времени г. Васеро перевел меня в третий класс, к старшим, и сказал мне:

— Скажи госпоже Бале, что тебе надо купить аспидную доску для писанья.

Тетушка Бале была от души довольна, когда узнала, что я иду вперед.

— Я довольна тобой, Жан-Пьер,—сказала она мне,—ты меня утешаешь.

Все жильцы в нашем доме и даже сама госпожа Мадлен привыкли, наконец, ко мне; против меня уже ничего более не говорили. Маленькая Аннета выбегала ко мне навстречу, когда я возвращался из школы, говоря:

— Вот наш Жан-Пьер!

Я был бы очень счастлив, но мне тяжело было сидеть вечно взаперти; я не мог привыкнуть сидеть по два часа неподвижно. Да! жизнь вещь трудная, и на свет родятся люди не для радости.

Сколько раз, сидя в классе, когда солнце светило в открытые окна через висевшие прописи, и мошки кружились на свете, сколько раз забывал я и доску, и примеры, и старую залу, и товарищей, и грамматику, глядя на яркий свет, выпучив глаза, как мечтающая кошка, и я представлял себе гору в Сен-Жан-де-Шу: высокий лиловый вереск и желтоцветный золотой дрок, в котором жужжали пчелы; коз, лазивших направо и налево по скалам, вытягивая свои длинные, худые шеи, с маленькой бородкой, чтобы достать жимолость; быков, лежащих под тенью старого бука, с полузакрытыми глазами и тихо мычавших, как будто жалуясь на зной; щелканье бичей, раздающихся в горах Сен-Витт, и наш маленький огонек из хвороста, с взвивающимся к обла-

кам дымом; белую золу, где мы пекли картофель; потом большие сосновые темные леса, спускавшиеся в глубь долины; плеск воды, пение дроздов по ночам, стук топора дровосека в тиши, валившего деревья... Сколько раз... сколько раз вспоминал я все это!

Вдруг надо мной раздавался голос:

— Клавель, что ты смотришь?

Я вздрагивал и тотчас же принимался за работу.

Г. Васеро редко бил меня. Он делал большое различие между учениками и возмущался только против неисправимых. Мне кажется, он угадывал мои мысли, и что у него самого бывали в прежнее время такие же, когда он вспоминал о своей деревне.

Для тех, кто привык к воздуху, для детей, которые впродолжение нескольких лет, как птицы, гнездились вокруг леса, надо много времени, чтобы забыть все это; воспоминание о зелени постоянно является к ним, а приятный запах листьев, лугов, ручьев долетает до них через городские валы.

Не будь у нас четвергов, мне кажется, я умер бы с горя, потому что, несмотря на вкусные супы тетушки Бале, я видимо худел. К счастью, у нас были четверги: завтра мы отправляемся в Го-Бар за орехами, будем бегать под тенью сосен, лазать, кричать и делать все, что нам вздумается.

Да! четверги... Ах! Если бы их было по два в неделю!

По воскресеньям надо было ходить к обедне и к вечерне, так и пропадала половина дня.

Но по четвергам мы уходили с раннего утра, и тетушка Бале, провожая, говорила мне:

— Да, тебе надо побегать, Жан-Пьер, я не хочу, чтобы ты так худел. Школа вещь хорошая... очень хорошая, но нельзя же надсаживаться, сидя за книгами. Детям нужен воздух. Иди, побегай! Выкупайся, но смотри, не заходи в опасные места. Пока не выучишься хорошо плавать, надо держаться около берега. Тонут только дураки. Скачи, лазай, здоровье всетаки важнее четырех правил. Здоровье прежде всего.

Все это говорила она мне напрасно, потому что за два дня заранее я думал о том, как буду купаться и бегать. Нас было трое: маленький Жан-Поль Латуш, сын экспедитора, Эммануэль Доломье, сын нашего мирового судьи, и я; Аннета хотела ходить с нами; она плакала, целовала меня, но г-жа Мадлен не позволяла, и, когда мы бежали уже далеко в конце улицы, мы все еще слышали ее крик и плач.

У Эммануэля и Жан-Поля в кармане всегда бывало несколько су; у меня бывала только краюшка хлеба, но зато я находил больше орехов, больше черники, и мы делились.

Первым нашим желанием было всегда итти купаться. Да, река Церн, с своими осинами и буками, хорошо знала нас; я и теперь мог бы показать вам хорошее песчаное дно направо от долины Сибль.

Господи! какое наслаждение добраться до окраины голой скалы и смотреть вниз на огромную долину, заросшую лесом, на большие луга, глубокую тропинку, спускающуюся в горячем песке, между висящих маленьких корней, где бегают сотни ящериц, и какое наслаждение пуститься вскачь по этой тропинке, окаймленной высоким сухим вереском! Какое счастье войти на середину пастбища и скрыться из виду; хорошенько осмотреться, нет ли где-нибудь полевого сторожа в черной шляпе и с бляхой на руке, и смело пробираться по горло в траве один вслед за другим для того, чтобы не оставлять большого следа.

Какое веселье подойти к берегу реки, окунуть в нее руку и тихо вскрикнуть: „тепла!“, потом быстро сбросить на землю блузу, снять башмаки, панталоны, чулки, прячась и смеясь, в то время как вода свистит и кипит над черными камешками; потом бросаться поочередно: раз... два... три... и спускаться по течению, точно лягушки, под трепещущею тенью. А зеленые стрекозы летают зигзагами и трещат крыльями под зеленым сводом листьев...

Хорошее время!

Как дрожишь, привстав из пены, как хлопаешь друг друга по спине, убивая больших серых мух, севших, чтобы укусить; как приятно бегать, брызгаться водой, а потом прислушиваться и трусить сторожа!

Потом, когда начинают уже щелкать зубы и когда говоришь друг другу: „По коже бегают мурашки... пора выходить!“ и когда сядешь в горячий песок, дрожа всем телом, с посинелым лицом, какой чувствуешь вдруг аппетит, и если с собой случится краюшка хлеба, с каким удовольствием уплетаешь ее. Господи, ведь бывают же в жизни хорошие дни!

Потом, одевшись, идешь в лес, освеженный, прозябший, посвистывая и ударяя по кустам для того, чтобы открыть бледные кисти орехов... Ну, вот какова жизнь! Если бы школы существовали только для того, чтобы были четверги, я стал бы утверждать, что это учреждение полезное.

Итак, проходили дни, недели, месяцы; после воскресенья и четверга—школа; после лета—осень: время груш и яблок, которые убираются в кладовые,—время, когда опадают листья, когда порывы ветра несут сухие листья по дорожкам.

Когда орехи, черника и ежевика пройдут, то значит—всему конец. А холод, первый белый мороз, зима, закрытые двери, старый станок, однообразно стучащий, дождь, вместе с ветром пробивающийся к нам в балаган на площади, — все приходит своим чередом, как веселье, так и скука.

Наступила зима,—зима с хлопьями снега, с продолжительными дождями, целыми неделями сливающимися с крыш, зима с грелками и грубыми деревянными башмаками тетушки Бале, подбитыми мехом, с подметальщицами в подвернутых юбках, которые отметают грязь от одних дверей к другим, с снежками, летающими по воздуху, когда все кричат, дерутся, с раскрасневшимися ушами и с разгоревшимися руками. У г. Лебока, адвоката, или у г. Гиляриуса, президента, разбивается стекло...

Все разбегаются... служанка выходит... Никто окна не разбивал!

Затем долгие серые четверги зимою, около очага, когда огонь трещит, а чайник шумит, и все собираются вниз прясть к Дюбургам, когда г-жа Мадлен говорит о состоянии своей тетки Жакелины из Сен-Витта, а тетушка Бале рассказывает о шлюзах в Голландии, где Бале носил башмаки, сплетенные из соломы, в такой мороз, от которого трескались камни, и о стычках в Торрес-Водрасе, в Бадажосе, в Арапилах, где обливались кровью и потом.

А по ночам порывы ветра, завывающие на дворе и срывающие черепицы с голубятни! Тут поджимаешь ноги под одеялом, натягиваешь перинку к самому носу и слушаешь: тетушка Бале кашляет подле, часы с кукушкой Ривелей бьют внизу час—и затем тихо засыпаешь.

Зима не коротка у подножия гор, а между тем с каким наслаждением припоминаешь очаг, закутанные фигуры добрых соседей, рукавицы, доходящие до локтей, башмаки, подшитые красной кожей, и даже большую печь в школе, когда, придя ранее других еще на рассвете, до прихода г. Васеро, греешься с мешком за спиною, в то время как дождь льет ливмя по окнам!

Как потом говоришь себе: когда наступит еще раз это время, когда мы будем опять молоды!

Несмотря на все это, я в ученьи подвигался, и г. Васеро отличал меня и выучил подавать ответы во время обедни вместе с другими тремя или четырьмя хорошими учениками. Он ставил нас на колени посреди школы, и мы отвечали все вместе, помогая друг другу. Он говорил:

— Клавель, предупреждаю тебя, что ты будешь певчим; ты возьмешь красную рубашку и шапку Бланшо и будешь петь с Жоржем Клутье. Надо приходить каждое воскресенье.

После десяти часов он заставлял меня петь сольфеджио, и я очень этим гордился. Матерны говорили, будто я подлизываюсь к г. Васеро; госпожа Мадлен оказывала

мне внимание; старик Антуан давал мне в пользу церкви по два лиарда, а тетушка Бале была довольна моим поведением.

Г. Вассро часто говорил в классе, что я иду по стопам Робишона, капитана 27-го линейного полка — его лучшего ученика, и что мне надо продолжать свои занятия.

VI.

Таким образом прошло три года. Я был тогда одним из первых в школе; я знал катехизис, у меня был хороший почерк, писал я правильно и знал четыре правила. Наступило время конфирмоваться и приняться за какое-нибудь ремесло.

Тетушка Бале часто повторяла мне:

— В мое время, Жан-Пьер, когда храбростью и случаем можно было добиться до всего, я советовала бы тебе дождаться восемнадцати лет и потом пойти в военную службу; но нынче я вижу, что делается: военная служба ничего не значит; люди сменяются из гарнизона в гарнизон, отправляются на несколько лет в Африку учиться пить абсент и потом возвращаются ветеранами.

Эммануэль Доломье, маленький Жан-Поль и многие другие из моих товарищей уже несколько месяцев как учились по латыни в Пфальцбургском лицее, чтобы сделаться судьями, адвокатами, нотариусами, офицерами и т. д.

Г. Вассро утверждал, что я способнее их, и что жаль оставить меня недоучившимся,—но к чему и способности, когда человек беден? Надо зарабатывать хлеб насущный!

Сердце у меня ныло от грусти; но я, не желая огорчать тетушку Бале, скрывал от нее свое горе, как к концу осени случилось происшествие, которое мне не забыть никогда. Утром, за неделю до моей конфирмации, всем было уже известно, что я буду во главе других читать *исповедание веры* и отвечать. Сам священник Яков пришел сказать об этом к нам в дом, и слух об этом разнесся по всем городским кумушкам.

Это было для нас честью, но зато стоило больших издержек. Об этом говорилось ежедневно. Госпожа Мадлен, вмешивающаяся во все, считала: столько-то на платье, столько-то на жилет, на белый галстух, столько-то на панталоны, башмаки и шляпу; все вместе это составляло большую сумму, и тетушка Бале говорила:

— Что же делать, надо постараться. Жан-Пьер примется теперь за ремесло; это последний день его юности.

Аннета, уже порядочно подросшая, восклицала:

— Так как он первый по ученью, ему надо быть первому и по наряду.

Я же, начинавший уже понимать жизнь, молчал.

В это утро, в то время как внизу в комнате Дюбургов шла речь об этом важном происшествии, а тетушки Бале не было дома, в восемь часов отворилась дверь, и в комнату вошла высокая, рыжая женщина с корзинкой в руке.

В маленькой комнате было несколько темно, и я не узнал этой женщины с первого взгляда. И только когда она начала кричать пронзительным голосом, как на базаре: „Здравствуйте, господа, здравствуйте! Я пришла посмотреть на нашего мальчика!“—узнал я в ней госпожу Гокар, свою двоюродную сестру,—ту, которая три года тому назад отказалась от меня, говоря, что отец мой—негодяй.

Она осматривалась во все стороны, я же так был поражен, что кровь застыла у меня в жилах.

— Ну!—крикнула она, увидав меня,—ну! Жан-Пьер, говорят, что ты хорошо ведешь себя?.. Это радует нас всех, нас, твоих родственников, и бедного Герло: у него были даже слезы на глазах... А Пезель... а Кониан!...

Я молчал, совершенно возмущенный.

— Садитесь же, госпожа Гокар,—сказала госпожа Мадлен, пододвигая ей стул,—садитесь! Да, да, на него жаловаться нельзя, слава богу. Но для конфирмации... какие издержки!

— Это так,—воскликнула долговязая Гокар,—мы уже думали об этом, мы говорили: „эта почтенная госпожа

Бале не может же все сделать; но ведь это кровь наша... Это наш родственник!“ Ну, так вот...

Она сняла покрышку с корзинки и достала оттуда новое платье, пару башмаков, панталоны и жилет.

Госпожа Мадлен и Аннета кричали от восторга:

— Ах, госпожа Гокар!

— Да, да, я думаю, что это будет ему к лицу!

Видя, что я молчу и мрачно сижу за столом, госпожа Мадлен говорит мне:

— Да подойди же, Жан-Пьер, иди же, поблагодари твою двоюродную сестру, добрую госпожу Гокар.

Тут я почувствовал, что во мне что-то шевельнулось, что-то ужасное, и я, не размышляя, отвечал:

— Я не хочу!

— Как не хочешь?

— Нет, ничего не хочу; я не хочу платья.

Г-жа Гокар приподнялась с удивлением.

— Что это с ним?—проговорила она протяжным голосом,—что это с ним, с нашим Жан-Пьером?

— А!—воскликнула г-жа Мадлен,—он горд; у него от славы голова закружилась.

— Так!—сказала рыбная торговка,—это уж семейная гордость-то! От такой гордости и богатеют люди.

В это время старик Антуан сказал мне:

— Как, Жан-Пьер, ты не благодаришь кузину! Так в тебе нет чувства благодарности?

Услыхав эти слова, я не мог удержаться от слез. Я уперся лбом в стену и зарыдал.

Все удивились. Старик Антуан встал, подошел ко мне и тихо сказал:

— Что с тобой?

— Ничего... только я не хочу ничего от них!—сказал я ему, всхлипывая.

— Почему?

— Они выгнали меня, они сказали, что отец и мать мои—негодяи!

Старик Антуан, услыхав то, что я говорю, совершенно побледнел, и так как г-жа Мадлен опять начала упрекать меня, то он в первый раз строго сказал ей:

— Молчи, Мадлен, молчи!

Он ходил, наклонив голову, взад и вперед по комнате. Г-жа Мадлен не говорила более. Я же все еще стоял, прислонившись к стене лбом, с щеками, мокрыми от слез, а маленькая Аннета, стоя сзади меня, говорила:

— А ведь какое славное платье... Взгляни только, Жан-Пьер.

И в ту минуту, когда г-жа Гокар, злобно захохотав, складывала опять в корзинку платье и восклицала: „Так ты не хочешь, мальчик? Из-за этого нечего плакать... другие верно захотят. Так вот как ты благодаришь добрых людей!“ — ту минуту, как она говорила это, громко хохоча и закрывая свою корзинку, отворилась дверь, и я услыхал, что тетушка Бале крикнула:

— Что тут такое делается? О чем ты плачешь, Жан-Пьер?

— А вот!—отвечала г-жа Мадлен,—представьте себе, что он не берет великолепного платья для дня своей конфирмации,—платья, которое нарочно из деревни принесла ему кузина его Гокар.

— Ого!—сказала тетушка Бале, подняв голову,—отчего же ты не берешь, Жан-Пьер?

— Потому что он помнит, что отца его назвали негодяем,—резко отвечал старик Антуан.

— А! он помнит это... и оттого не берет их платья—вскричала добрая женщина.—Ну, так он прав... у него есть сердце.

И, взглянув на г-жу Гокар, она сказала:

— Убирайтесь вон, до сих пор обходились без вас и теперь тоже обойдемся. Я, Мария-Анна Бале, подарю платье этому ребенку. Убирайтесь к чорту, слышите?

Долговязая Гокар хотела кричать, но у тетушки Бале был голос посильнее, настоящий трубный голос, покрывавший собою все.

— Убирайся вон, каналья,—кричала она,—вы отреклись от своей крови... вы стоите все, чтобы вас повесили!...

В это время в комнату вошли привлеченные криком Ривель, его жена и две или три соседки, так что рыбная торговка, видя это, едва успела схватить свою корзинку и бежала, крича с видом отчаяния:

— Вот, пойди, делай добро людям... стоит того... стоит!

После этого тетушка Бале тронула меня за плечо и сказала:

— Я, Жан-Пьер, сделаю тебе платье.

— Ах!—воскликнул я, обхватив ее,—от вас... от вас блуза... и больше мне ничего не надо.

— Не только блуза,—сказала она растроганным голосом,—но у тебя будет платье лучше, чем у других. Не беспокойтесь, г-жа Мадлен, это мальчик с душой; а человек с душой никогда не пропадет.

Так говорила эта добрая женщина, на которую я смотрел как на свою мать. И через неделю у меня было отличное платье для причастия, несколько широкое для того, чтобы могло дольше служить. Все в доме были рады.

Все эти давно минувшие происшествия пришли теперь мне на память и вызвали слезы! Это были последние школьные дни; теперь началась другая жизнь и другие заботы: жизнь ученика-ремесленника, когда работаешь не только для себя, но и для хозяина, когда принужден вечно трудиться и заботиться о будущем.

VII.

Дня через два, через три после конфирмования моего тетушка Бале спросила меня, нравится ли мне какое-нибудь ремесло более других. Мы сидели за завтраком. Я отвечал ей, что мне нравится более всех других столярное мастерство, потому что я всегда любовался на красивую мебель, на большие комоды, хорошо полированные шкапы, на рамы старого ореха и тому подобные вещи.

Это ей пришлось по душе.

— Я довольна, что ты выбираешь,—сказала она мне,—потому что те, которые берутся за первое попавшееся

ремесло, показывают, что им не нравится никакое. И рада, что это решено,—сказала она, вставая,—так лучше отправляться тотчас же. Надевай хорошее платье, Жан-Пьер, я сведу тебя к столярному мастеру Нивуа, около колодца. Лучшего хозяина и желать нельзя. Никто в городе не знает мастерства лучше Нивуа. Это человек умный; он объехал Францию и прожил даже лет пять—шесть в Париже. Я уверена, что он тотчас же примет тебя, чтобы доставить мне удовольствие.

Я давно знал дядюшку Нивуа, в его серой суконной куртке с большими четыреугольными карманами, где с одной стороны лежал метр и рейсфедер, а с другой стороны большая картонная табакерка. Мне нравились его открытое и прямое лицо, его матовые маленькие глазки. Лучшего хозяина я не желал и потому быстро оделся, пока тетушка Бале надевала шаль.

Через несколько минут мы вышли без дальнейших рассуждений и вскоре пришли к Нивуа, у которого подле мастерской была маленькая харчевня против дровяного двора и колодца.

Харчевня, на вывеске которой красовалось два стакана пенящегося пива, была всегда полна гусарами, которые пели, в то время как пила и струг выбивали им такт.

Около девяти часов мы вошли в мастерскую. Господин Нивуа, рисовавший красным карандашем большие линии по доске, очень удивился, увидав нас.

— Э! да это тетушка Бале!—сказал он.—Уж не рушится ли балаган? Надо пустить в дело гвозди.

— Нет, балаган еще стоит крепко,—смеясь, отвечала тетушка Бале.—Я пришла просить вас о другой услуге.

— Все, что прикажете, к вашим услугам.

— Я была уверена в этом,—сказала тетушка Бале,—я надеялась на вас. Вот Жан-Пьер, которого вы знаете... сын Николая Клавеля из Сен-Жан-де-Шу, которого я считаю своим собственным сыном. Ну, так ему хочется учиться вашему ремеслу; у него много охоты, терпения, и если вы его примете, я уверена, что он постарается угодить вам.

— Ага!—серьезно, но тем не менее ласково сказал дядюшка Нивуа,—так ли это, Жан-Пьер?

— Да, господин Нивуа, я обещаю угодить вам, если только это возможно...

— Угодить мне всегда возможно,—сказал старик-столяр, кладя линейку на верстак, и крикнул в дверь кабака:—Маргарита! Маргарита!

Вслед за этим жена г. Нивуа, женщина довольно высокая и здоровая, одетая по-крестьянски, отворила дверь и спросила:

— Что тебе, Нивуа?

— Возьми нацеди хорошую бутылку красного вина и снеси вместе с двумя стаканами туда наверх, в комнату. У нас с госпожею Бале дела, нам надо поговорить.

Жена спустилась в погреб, и так как подмастерье г. Нивуа, Мишель Жари, сухой, худой, костистый, высокий и бледный человек, бросил стругать и стал слушать, то г. Нивуа сказал ему:

— Я приказал подать бутылочку вовсе не для тебя, Мишель; продолжай работать, не стесняйся, госпожа Бале не будет в претензии на шум, как и я тоже.

Он сказал это совершенно серьезно, понюхав табаку, а жена его появилась в дверях на маленькой лестнице, держа в руках два стакана и бутылку.

— Тетушка Бале, идите—я покажу вам дорогу.

Они вошли вместе в комнату около мастерской наверху, в виде голубятни, я же остался внизу с Жари, который продолжал стругать, сердито вытягивая свои длинные, худые руки.

Я сразу увидал, что мы не будем добрыми товарищами, так как через минуту он остановился, чтобы поправить рубанок, и, стукая по нем, сказал мне:

— Ну, что же, ученик, начинай с того, что собери стружки в эту корзину.

Я весь вспыхнул и через минуту отвечал ему:

— Если г. Нивуа примет меня, то я сегодня же вернусь и соберу стружки.

— А! Ты боишься запачкать свое нарядное платье,— смеясь, заметил он.—Это очень просто; когда человека зовут господином Жан-Пьером, когда он кончил школу первым, знает орфографию и ходит в шляпе, то ему наклоняться трудно.

Он мне еще говорил кое-что, все в этом роде; но я ничего не отвечал, и в эту минуту послышался голос дяди Нивуа, крикнувшего в слуховое окошко:

— Эй ты, послушай, Жари, не суйся не в свое дело. Я тебе плачу по пятидесяти су в день вовсе не для того, чтобы ты замечал, носят ли люди шляпы или фуражки. Постыдился бы приставать к мальчику, который тебе слова не сказал. Виноват ли он в том, что не так глуп, как ты.

Жари с яростью принялся стругать, а через несколько минут тетушка Бале и г. Нивуа сошли с лестницы.

— Ну, так решено!—сказал Нивуа.—Жан Пьер придет сегодня же после обеда, и ученье его таким образом начнется. Я беру его на четыре года. В первые два года он мало будет мне полезен, ну, а вторые пойдут уплатой за ученье.

— Хотите письменное условие?—сказала тетушка Бале.

— Полноте! какое между нами письменное условие!— вскричал старик-столяр.—Разве я вас не знаю?

Они прошли через мастерскую.

— Идем, Жан-Пьер,—сказала мне тетушка Бале.

И мы вышли вместе.

На улице г. Нивуа прошел с нами несколько шагов, объясняя, что я должен приходить каждый день летом в шесть часов утра, а зимою в семь; что в полден мне будет даваться час на обед, а что вечером в семь часов я буду свободен, как буду свободен по воскресеньям и по другим праздникам.

Условившись обо всем этом, он ушел к себе в мастерскую, а мы вернулись домой.

VIII.

Шесть лет выжил я у старика Нивуа. Сколько было работы, сколько горя, но сколько и счастья в эти долгие годы ученья! Все во мне оживает, все пробуждается! Я как будто слышу скрип струга, визг пилы и стук молотка под большой крышей мастерской; я как будто слышу еще звон стаканов в соседнем кабаке и пению гусаров: „En avant Fanfan la Tulipe!“. Я как будто вижу падение под верстак стружек и как я их отталкиваю ногой, со щеками и лбом, залитыми потом.

А долговязого Жари, моего товарища по мастерской, бледного, худого, с всклокоченными волосами,—я тоже будто вижу его, слышу, как он командует мной: „Ученик, струг! Ученик, гвозди! Прибери оп‹и›лки, ученик, да поживее. Это что такое? ты собрался приноравливать... Ха! ха! славная работа! Как это выстругано!.. как это распилено!.. Хозяин хорошо ‹н›аживется на этом... Надо, чтобы он добыл старого дуба, чтобы учить тебя портить его!“ И так далее. И вечное ворчанье, вечный толчок локтем, когда он проходил мимо меня.

— Отойди отсюда, вечно суешься!

Господи, какое надо иметь терпение и желание выучиться, чтобы жить с такими бессовестными, бездушными и бесчестными негодяями! Чем лучше работа, тем они находят ее хуже, тем больше грызет их зависть, тем больше они зеленеют и желтеют. Если бы они смели накинуться на тебя!... Но у них недостает на это смелости! Негодяи!.. Негодяи!..

Вот какова однакож жизнь, вот какую поддержку можно ждать от жизни.

Старик Нивуа замечал зависть этого негодяя и восклицал иногда: „эй, Мишель, постарайся же не ругаться с Жаном-Пьером. Ты ведь не сразу выучился выстругивать доску и вбивать гвоздь; это ведь даром тебе не досталось... на это пошли года да года. И, несмотря на это, ты еще управляешься не по-камергерски с стругом и наугольником, как говорилось в прежнее царствование;

у тебя на спине нет еще ключа, вывески твоего величия. Еслиб ждали, пока ты изобретешь гвозди, долго пришлось бы ждать. Не смей кричать на ученика; я не позволяю этого... Слышишь?

К несчастью, старик не всегда же бывал в мастерской; у него бывали заказы в городе, и Жари, видя, что он выходит, немедля вымещал на мне все те насмешки, которые принужден был выслушивать.

Среди этих неприятностей, на мою долю выпадали, однако, счастливые минуты, и привязанность моя к тетушке Бале росла с каждым днем.

Не прошло и шести месяцев после моего поступления, как г. Нивуа позволил мне уносить домой стружки. Я накладывал себе в передник столько, сколько влезало в него, и с какой радостью кричал в дверях:

— Тетушка Бале, вот стружки! мы можем развести славный огонь, недостатка в дровах больше не будет!

Она же, видя мою радость, делала вид, что считает серьезным приобретением эти стружки.

— Никогда в жизни не видывала я такого отличного огня,—говорила она.—Да и кроме того ведь от них тепло, Жан-Пьер, так что прелесть.

Спустя некоторое время, в конце года, выучившись немного ремеслу, я великолепно отделал кладовую для овощей и фруктов, наложив ряд крепких планок. Этим я занимался по воскресеньям, а еще после этого, когда семейство Дюбургов наняло в окрестностях города маленький садик, то беседку им выстроил тоже я, сделав сруб, обив внутри циновкой и накрепив снаружи драпь для вьющихся растений.

Маленькая Аннета приходила смотреть на мою работу и находила все превосходным; сама г-жа Мадлен хвалила меня, а тетушка Бале, не стесняясь, говорила:

— Жан-Пьер будет лучшим работником Саверна; он будет слишком хорош для такого города. Мастерам работникам надо уходить в столицы; там они наживаются и могут, наконец, жениться на дочери богатого фортепьянного мастера или мастера редкой мебели, как,

например, шкапов, комодов, клеток. Мне случалось видеть это сотни раз, в особенности в Вене, в Австрии и в Берлине, где у богатых людей есть обычай выдавать своих дочерей за хороших работников.

Ей все казалось в хорошем свете, потому что она любила меня.

Дюбурги, довольные своей беседкой, ничего не отвечали; но по глазам г-жи Мадлен я видел, что она находит похвалы эти преувеличенными и с удовольствием опровергла бы их.

Жари всего больше сердился на меня из-за стружек, так как до сих пор он один уносил и отдавал их одной своей знакомой в переулке Слепых. Всем ведь угодить невозможно.

Все шло таким образом слишком год. Я еще не был хорошим мастером, но г. Нивуа часто давал мне делать небольшие вещицы, как, например, шкатулки, которые нам заказывали в училища, и, казалось, всегда оставался доволен.

— Хорошо, Жан-Пьер,—говорил он,—это может годиться, недостает только отделки. Вот связки не довольно плотны, этот шарнир немного велик... замок врезан слишком глубоко... Но для ученика это очень порядочно.

Разумеется, в эти дни Жари был еще злее обыкновенного; лишь только хозяин уходил из мастерской, он тотчас же обращал его похвалы в насмешку и издевался над моей работой. Еслиб он мог все сломать и уничтожить, он сделал бы это с удовольствием; но он этого не смел и потому смотрел только, пожимая своими худыми плечами, и говорил:

— Славная работа! Послушайте-ка, как она открывается, как закрывается!

Он отворял крышку, повторяя:

— Крак! крак! это настоящая музыка... Визжит, поет... в ней все удовольствия вместе. В нее можно класть книги и в то же время наигрывать песенку учителю... Продолжай, Жан-Пьер, ты обещаешь многое!

Он пыхтел и держался обеими руками за бока, как будто желая удержаться от смеху.

Легко себе представить, как я оскорблялся, видя его злобу. Не уважай я так г. Нивуа, и тетушку Бале, и всех, я непременно сказал бы этому негодяю, что я о нем думаю.

IX.

Г. Нивуа давал мне тогда половинную плату работника, семь франков пятьдесят сантимов в неделю, которые я отдавал в субботу вечером тетушке Бале, и нечего говорить, как был счастлив этим; но она всегда заставляла меня удерживать по несколько су на воскресенье.

— У работника должно быть всегда что-нибудь в кармане,—говорила она,—он не должен быть ребенком. Если бы случилось, что его угостят стаканом вина, надо, чтоб он имел возможность отплатить за него.

Я понимал, что она права, и никогда ни перед кем не одолжался. Мне случалось даже по воскресеньям ходить танцовать за город, в *Панье-Флери*. Мы весело проводили время, девушки из Сен-Витта, из Дозенгейма или откуда-нибудь из другого места, возвращаясь от вечерен, всегда заходили туда; некоторые девушки из Саверна тоже приходили туда; кларнет, тромбон, флейта, хохот и стук пивных кружек смешивались под цветущими яблонями.

Как же иначе? Ведь молодость! Те, которые хотят, чтобы все всегда были скромны, верно ничего не помнят. Что касается до меня, то я любил танцовать и вечером, возвратясь домой, мечтать то о Маргарите, то о Христине.

Меня удивляет, что в то время я совсем не думал об Аннете; мы стали как-то чужды друг другу; я считал ее барышней; она, может быть, считала меня простым работником,—я не знаю. Она была девушка немножко гордая, державшаяся своих правил, и всетаки, не смотря на это, хохотунья. Иногда, например, по вечерам, увидя меня, когда я возращаюсь домой, она кричала:

— Эй, Жан-Пьер, иди сюда, у нас сегодня аладьи с яблоками... Иди же!

Она приносила мне их прямо с огня, весело говоря:

— Открой рот.

Это делалось как во времена детства. Но по воскресеньям она наряжалась и не обращала более внимания на Жан-Пьера в рубашке без сюртука и считала себя выше какого-нибудь столяра, плотника или вообще ремесленника. Она никогда не приходила в *Панье-Флери*.

Я же вообразил, что влюблен в дочь полевого сторожа Пасофа, в большую Лизу, которая мне бог знает почему понравилась! Я водил ее под руку даже после каждого вальса по саду, думая:

„Это моя возлюбленная!“

Вот однако же как можно себя настроить! И месяца через два или три, когда Лиза Пасоф уехала с своей сестрой служить в Париж, я считал себя несчастнейшим смертным. Я восклицал в душе:

„Жан-Пьер, ты не можешь еще понять своего несчастия, ты лишился счастья твоей жизни“.

Но через неделю я уже танцовал с другой, с Шарлотой Мерио, дочерью садовника, а потом через неделю опять с третьей.

В начале следующего лета кончился срок моего ученья, и мне дали полную поденную плату; в нашей маленькой комнате третьего этажа стало проглядывать довольство. Тетушка Бале говорила, что мы будем покупать муку сами на рынке и давать печь хлеб булочнику Шануану, и что мы будем черточкой обозначать хлебы.

Она хотела тоже закупить сухих овощей, иметь в кладовой картофель и на чердаке дрова, потому что дорого покупать по мелочам.

Я был счастлив, видя, что вместо того, чтобы быть в тягость этой доброй женщине, моей второй матери, я, наконец, становлюсь ей полезен и могу поддерживать ее на старости лет. Да, это сознание было невыразимо приятно.

Таким образом прошли два года, в которые не случилось ничего нового; но в 1847 г. совершились перемены, и большие перемены. В жизни случаются такие годы, перед которыми все, что чувствовал в жизни, исчезает. Они походят на зерна, заброшенные в землю, их не видно, они точно погибли, но вдруг наступает весна, и они тянутся к небу.

Я помню, что как раз в начале весны, утром, я работал с Пикаром, давно заменившим Жари, распевая и стругая перед тремя открытыми окошками, выходившими на площадь с колодцом: я помню, от время до времени мы посматривали на проходивших служанок в коротеньких юбочках, с кружкой или кадочкой в руке, болтавших между собою в ожидании своей очереди. Погода стояла отличная, вода в колодце горела на солнце, как зеркало, вереницы коров и быков подходили утолять жажду, поднимая свои розовые ноздри, с которых вода падала по каплям, как брильянты, или убегали, прыгая и поднимая задние ноги, что заставляло служанок кричать. Дети тоже подводили поить лошадей, скача посреди всего этого; бичи щелкали, девушки трещали, а Пикар весело говорил:

— Вот толстая Розалия, служанка из кофейной, с своей кружкой. Ха! ха! ха! молодец какой! Взгляни-ка на ее руки, Жан-Пьер, вот ее так можно назвать молодцом бабой! А вот эта дочь сапожника, ну, она знает все городские происшествия, ей надо не меньше двух часов, чтобы сходить за водой.

Потом, распевая, мы продолжали работать. Шум, хлопанье бича, мычанье, хохот и крики продолжались своим чередом.

Вслед за этим, взглянув вдаль в сторону рынка, я увидел какую-то незнакомую молодую девушку, на ней было лиловое платье, и она шла с непокрытой головой, такой милой походкой, что я заранее говорил себе:

„Какая хорошенькая девушка! как мило одета и как хорошо сложена! Как она славно идет!“

Я смотрел, думая:

„Я ее никогда не видывал, она не из Саверна, а между тем ведь она из работниц. Это не дама“.

Чем больше я глядел, тем меньше казалось мне, что я ее знаю, как вдруг я увидел, что это была Аннета. Она несла работу в нашу улицу жене командира Тардье, и тут я в первый раз заметил, как она хороша собой, какие у нее прелестные голубые глаза, какие хорошие черные волосы, свежее и веселое лицо, словом, она была чрезвычайно мила. Это так поразило меня, что я немедля начал стругать в страшном смущении, чтобы не показать, что я ее видел.

В то время, как я стоял, наклонившись над работой, Аннета, проходя, заглянула к нам в мастерскую, чего прежде никогда не случалось, и весело крикнула:

— А, здравствуйте, Жан-Пьер! Вы вечно за работой.

Она говорила это шутя. Мне следовало бы отвечать: „Да, мадемуазель Аннета. А вы несете куда-нибудь работу?“ Мы вместе посмеялись бы; но я весь вспыхнул и начал что-то бормотать, так что Аннета с удивлением смотрела на меня, а Пикар сказал:

— Не удивляйтесь, мадмуазель Дюбург: малый этот влюблен, да так влюблен, что сам себя не помнит.

А она тотчас же ушла, восклицая:

— Ах! бедный Жан-Пьер!—и расхохоталась как сумасшедшая.

Я точно с неба свалился, услыхав, что говорит Пикар, и, когда она ушла, я закричал.

— Пикар, вы настоящая скотина; как можно говорить такие вещи! Вы сделаете меня несчастным на всю жизнь!

И я сел на лавку, закрыв лицо руками, и готов был заплакать. Я приходил в такое отчаяние, что хотел бежать. Пикар, посмотревший на меня, сказал.

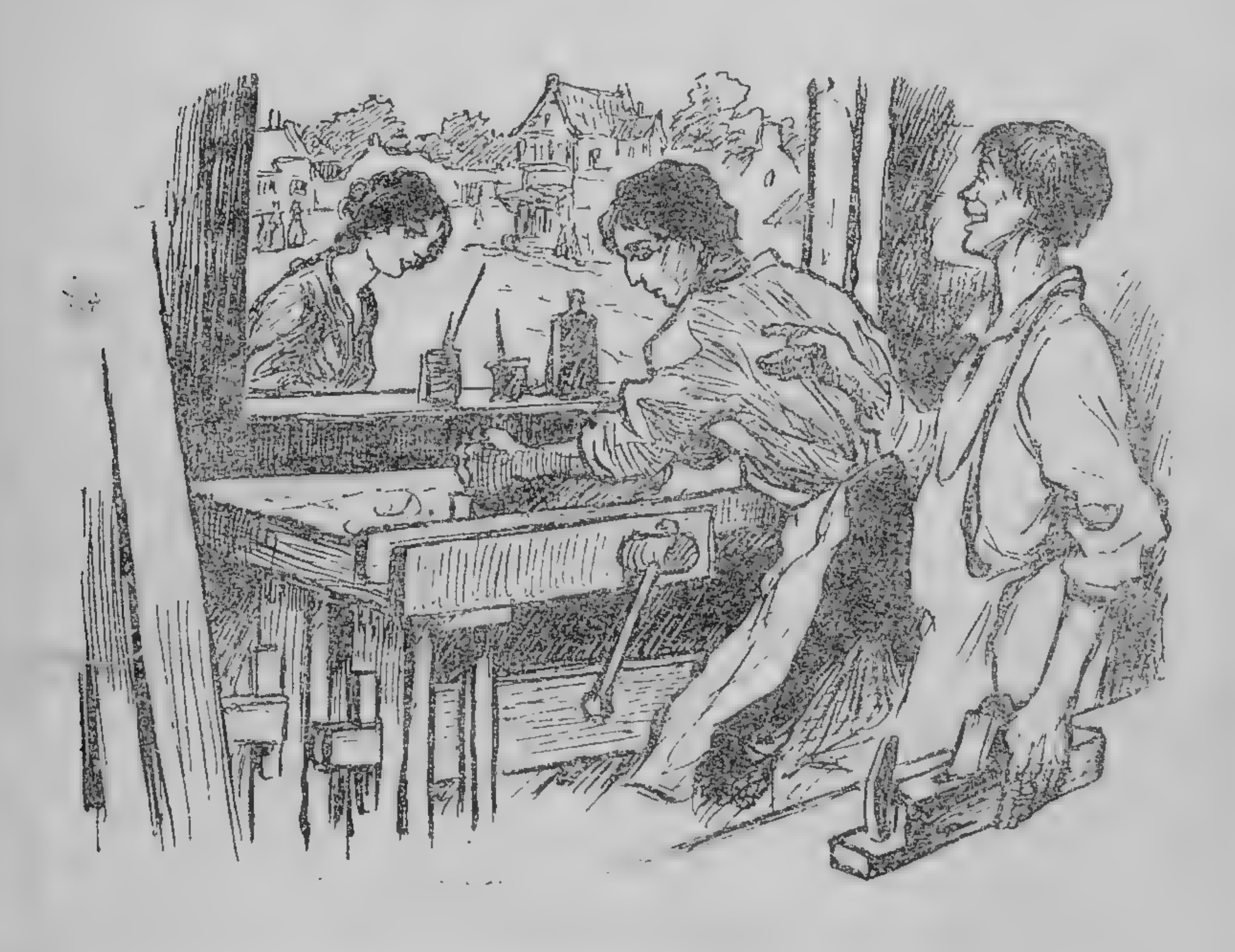
— Послушай, Жан-Пьер, сначала я просто пошутил, но теперь вижу, что был прав.

— Нет, это неправда!

— Если это неправда, так зачем же ты сердишься?

— Потому что мне стыдно за твою глупость.

— Э!—возразил он,—нечего тебе отчаиваться за меня; будь я в десять раз глупее, от этого тебе не будет ни теплее, ни холоднее.



С таким болваном нечего было рассуждать, и я принялся опять за работу, думая: „господи! как теперь я пойду домой!“

Мне казалось, что у меня все было написано на лице, и что г-жа Мадлен, встретив меня на лестнице, сразу все заметит. Я очень ошибался, потому что к вечеру Аннета и не вспоминала более об этом. Что ей было до этого за дело? Какая девушка не слыхивала: „Молодой человек влюблен!“

Все шло своим обыкновенным порядком. Я вошел к нам наверх, не встретясь ни с кем. К восьми часам

Дюбурги открыли внизу окно на улицу, чтобы освежить воздух. После ужина тетушка Балс сошла рассказывать им рыночные новости. Две другие соседки сели на лавку у наших дверей, рассуждая о пасхе и троице, о церковной кружке для бедных, о старой Розалии, получавшей столько-то и столько-то из общества благотворительности, и т. д.

Г-жа Мадлен мела комнату, Аннета пошла наверх шить для себя, и когда я робко спускался, она крикнула мне:

— Прощайте, Жан-Пьер!

Я успокоился и благодарил бога за всеобщее ослепление.

Но на другой день и в продолжение всей недели, видя, что Аннета не обращает на меня внимания, что она уходит, приходит, поднимается и опускается с лестницы, не обертывая головы в то время, как я на нее смотрю; что она попрежнему говорит мне только: „Здравствуйте, Жан-Пьер!“—„Прощайте, Жан-Пьер!“— тогда я воскликнул в глубине душе своей:

„Что это значит? Так она меня совсем не любит! Она говорит со мной так же, как говорила в прошедшем году!“

Я был в отчаянии, потому что мне хотелось, чтобы она изменилась. К счастью, я припомнил, что шесть или восемь месяцев тому назад я считал за самое высшее удовольствие есть каштаны с толстою Жюли Керман, воображая, что я влюблен в нее.

„Точно так же и относительно Аннеты,—думал я,— она ничего не знает, она еще настоящий ребенок. Но потом, через полгода или через год, она увидит, что я хороший работник и заслуживаю уважение порядочной девушки, и что мы будем счастливы, женившись. Старик Антуан всегда уважал меня, а кого лучшего может желать госпожа Мадлен в зятья, как меня! Я не богат, но зарабатываю свои пятьдесят су в день. Господин Нивуа ценит меня все более и более; он прибавит мне в будущем году, и, кто знает, хозяин становится стар;

уж ему не так-то легко бегать, может быть, понадобится кто-нибудь, чтобы закупать вместо него дубовые доски на пильных заводах, да и для других дел. Рано или поздно, надо же будет ему взять какого-нибудь работника, поверенного, умеющего и вымерить, и высчитать, и написать смету, и заключить торг. Если не теперь, то через несколько лет он может сначала дать мне пай, а потом допустить до участия в его делах; это очень просто и естественно. И тогда Жан-Пьер, с миленькой экономной женой, стариком отцом Антуаном, с тещей госпожей Мадлен, которая сделается женщиной почтенной, и с своей доброй, старой тетушкой Бале, которую все вы будете любить и все более и более уважать,— тогда, окруженный такой семьей, кто на свете может считать себя счастливее тебя? Не говоря уже о детях, которых мы будем воспитывать в труде и добром примере и которые будут радовать всех нас“.

Я думал обо всем этом, стругая, распиливая и приколачивая. Все это представлялось мне совершенно ясно; все оживало и катилось как на колесах; сбрасывая широкие стружки, я ликовал в душе, не слышал даже песен Пикара и по целым часам предавался этим мечтам. Только веселый голос старика Нивуа заставлял меня приходить в себя.

— Послушай, Жан-Пьер,—кричал он,—да остановись!.. остановись!.. Ты все ведь пространгаешь; весь дом дрожит. Вот парень-то, духу перевести не даст!.. Точно лесопильная мельница ни останавливается ни на минуту.

Тут я смеялся, обтирая лоб, и с нежностью смотрел на него.

— Да,—говорил он, нюхая по обыкновению табак,— я доволен тобою, Жан-Пьер, редко попадаются такие прилежные работники.

Потом он смотрел работу, находил все отличным, и я был уверен, что к следующей зиме получу прибавку, и чувствовал, что я стою ее, что, разумеется, удваивало мое удовольствие.

Только одна тетушка Бале угадала кое-что. Часто, по утрам, видя, как я чешусь перед своим зеркальцем, и, завязывая хорошеньким узлом галстух, покручиваю усы и чищусь с головы до ног щеткой—чего прежде никогда не бывало,—она смотрела на меня, лукаво прищурившись, и говорила:

— Ты становишься кокетлив, Жан-Пьер. Хе! хе! хотелось бы мне знать, с чего это ты сделался вдруг таким? Ну, уж хорош, хорош... Нечего так смотреться... Будь покоен, понравишься.

И, видя, что я краснею, она, говорила:

— Тут нет ничего дурного, нечего краснеть... Это естественно.. Это показывает, что человек становится умнее и что начинает уважать ближних. Я люблю почтительных людей. Видя почтительность в молодом человеке, думаешь: „Какой он скромный и порядочный человек“.

Когда она говорила мне подобные вещи, мне хотелось выпрыгнуть в окошко; я угадывал ее намеки, и мороз пробирал меня по коже.

Но меня беспокоил серьезно рекрутский набор, назначенный через год. К счастью, в 1847 г., в царствование Людовика-Филиппа, был мир; в Эльзасе можно было достать наемщика за тысячу и за тысячу двести франков, да и кроме того было много счастливых номеров.

Я мог вынуть счастливый номер, а в случае неудачи, с помощью старого хозяина, обязавшись остаться у него, мог взять в долг. Это, конечно, отсрочило бы свадьбу; но когда есть надежда на счастливый номер,—надежда, которая не покидает и в случае неудачи, когда человек влюблен и все видит в розовом свете,—тогда для него не существует ни помехи, ни неудачи; он не думает о неприятном, и случай, который может сразу все расстроить, кажется ему бессмыслицей.

X.

Раз вечером, после работы, я шел домой; еще не было совершенно темно, и солнце освещало крыши; в переулке „Двух Ключей“ было уже мрачно, и издали нижние окошки в нашем доме светились, как фонарь. В доме должно было случиться что-нибудь необыкновенное, потому что госпожа Мадлен не имела обыкновения жечь свечей.

Лишь только подошел я к дому, спрашивая себя: „Что бы это могло быть?“—как из сеней вышла тетушка Бале, весело крича:

— Скорее, Жан-Пьер, сегодня у нас пир.

И почти вслед за нею Аннета сказала мне:

— Ах, Жан-Пьер, знаешь, ведь... тетушка Жаклина умерла.

Я вхожу в маленькую, низенькую комнату и вижу с левой стороны станок, отодвинутый к стене, мотки и куски полотна и даже шесты с крючками—все это в беспорядке навалено на нем, чтобы очистить больше места, а направо, подле печки, стол, накрытый чистой скатертью, с семью или восемью приборами и тремя зажженными свечами, убранными около стеклышек бумажными оборками.

В кухне разведен был огонь. Тетушка Ривель, слывшая хорошей кухаркой и стряпавшая даже в течение двенадцати лет у Бишофа в гостинице „Орла“, до своего замужества,—тетушка Ривель помогала госпоже Мадлен. На краю шкапчика у них стояло большое блюдо с сосисками, начиненная и жареная на вертеле индейка, а в буфете виднелось несколько запечатанных бутылок.

Словом, пир был точно свадебный, каких я никогда не видывал. Старик Антуан, сидя, скрестив ноги, на своей скамейке, протянул ко мне руки, восклицая:

— Жан-Пьер, наша бедная, старая тетка Жаклина отправилась; она не успела дать ничего в пользу церкви. Какое счастье!

Вот, однако, какие могут явиться мысли человеку, и человеку хорошему, когда является богатство. Он обнял меня и сказал через несколько минут:

— Иди, оденься! Я тоже одену хорошее коричневое платье. Сегодня на вечер приглашены капитан Флорентин с женою, г-жа Френцель, тетушка Бале и мой старый товарищ, оружейник Виллон. Если бы мы знали, то я позвал бы Нивуа, но весть эта пришла только в три часа.

Тут он не мог удержаться от смеха и сказал:

Слава богу, наткал я немало аршин полотна, поработал на веку довольно, будет с меня!

Он поднял руки. Аннета, уже разряженная, тоже говорила:

— С меня тоже будет шитья!

А г-жа Мадлен кричала из кухни:

— Да, да, да и пора уж было! Теперь мы можем пожить. Г-жа Ривель, положите масла в кастрюлю. Вот соль и перец. Теперь уж нечего скупиться.

Я вышел посреди этих толков, довольный, что тетушка Бале тоже приглашена. Я радовался счастью Дюбургов и начал бриться, мечтая обо всем этом, воображая, что г-жа Мадлен возгордится, никак не предвидя, однако, до какой степени это может дойти.

Надев чистую рубашку и свое хорошее платье, я сошел вниз. Комната уже была полна гостей.

Капитан Флорентин хохотал во все горло.

— Ха! ха! ха!—говорил он — как эта старая тетка славно придумала, что скопила для вас! Вы стоите этого, г. Дюбург.

А старик Антуан начинал рассказывать, как все это случилось. Он надел свой широкий коричневый сюртук и большой черный галстух; воротник его рубашки поднимался у него до самых ушей, и по временам, принимая серьезный вид, он восклицал:

— Она была отличная женщина!.. Да, мы очень жалеем ее... Как, однако, справедливость всегда возьмет верх, господин Флорентин; она сердилась на Мадлену за ее брак с простым работником; она копила, чтобы

отдать состояние на церковь, и в самое тяжелое для нас время ей и в голову не приходило помочь нам. Но справедливость всегда возьмет верх; теперь нам достанется все. Хорошая вещь справедливость!

— Да, да,—кричала госпожа Мадлен из кухни,—и мы всетаки закажем обедни. Господь справедлив в концеконцов.

Аннета выразила мнение, что надо надеть траур.

Тетушка Бале явилась в своем прелестном платье с большими зелеными цветами. Госпожа Френцель, маленькая и кругленькая, как яичко, оказалась всех догадливее; она сделала вид, будто верит в отчаяние госпожи Мадлен, и говорила:

— Нечего горевать, нечего горевать... все мы смертны!

Дядя Виллон явился последним. Он был хитрый проныра, и пришел с серьезным лицом, но когда увидал, что о тетке не плачут, он засмеялся и сказал старику Антуану:

— Да, бедный мой Дюбург, я бы желал пережить такое несчастие, как ваше: дядя или тетка девяносто девяти лет с чем-то, с лугами, хмельниками, виноградниками и еще чем-то! Все это я взял бы, закрыв глаза.

Они, улыбаясь, понюхали табачку.

Госпожа Мадлен пошла принарядиться и вернулась в ту минуту, как госпожа Ривель подавала сосиски, и все сели за стол.

Все ели с большим аппетитом. За столом говорилось то о добродетелях тетки, то о лугах, то о виноградниках, то о хмельниках. И затем начали жалеть о судьбе людей, которым приходится покинуть все в конце дней.

— Завтра мы поедем все это осмотреть,—говорил старик Антуан.—Там все опечатано... но ведь мы ближайшие родственники... Мадлена была единственной племянницей.

— Да,—говорила госпожа Мадлен,—у моей матери была только одна сестра, покойная тетя Жаклина из Сен-Витта; а у меня не было ни брата, ни сестры, я была единственной дочерью.

Все начинали восхищаться.

Я слушал. Эта тетка Жаклина никогда не приезжала к Дюбургам, и я ее не знал, и потому жалеть ее не мог; я неподозревал еще возможных последствий получения наследства, и потому был доволен.

Но когда к концу ужина я услыхал, что г-жа Мадлен говорит, что „теперь, слава богу, семейство Дюбургов займет свое настоящее положение; что Аннете, их единственной дочери, не придется более ходить и обшивать особ, не стоющих ее; что всякий инженер, адвокат и нотариус почтет за счастье вступить с ней в брак; что она сделается барыней, как госпожа такая-то, у которой нет и четверти их богатств; что не трудно выучиться носить шляпки, шали и кружева, и что Аннета скоро к этому привыкнет!"—когда я услыхал это, мне все стало ясно; я взглянул на Аннету, и, увидав, что она смеется, слушая эти приятные вещи, мне стало холодно, несмотря на выпитое вино. В это же самое время тетушка Бале так грустно посмотрела на меня, что мне захотелось заплакать и убежать.

Меня удивляет, что у меня достало силы скрыть мое волнение. Но они чокались, пили за здоровье добрых людей; смотрели, как старик Виллон разрезает индейку и вынимает каштаны, так что на мою бледность и отчаяние никто не обратил внимания. Только одна тетушка Бале поняла все. Она ответила госпоже Мадлен только одной фразой:

— Да,—сказала она,—вы правы, госпожа Дюбург, гораздо легче выучиться носить шали и шляпки, нежели уметь обходиться без них, когда долго носил их.

Все засмеялись.

Я пил рюмку за рюмкой. Мне это было необходимо, чтобы поддержать себя.

Ужин этот продолжался до одиннадцати часов. Тогда все разошлись. Старик Антуан, стоя в дверях со свечкою в руке, кричал:

— Прощайте! прощайте!

А капитан Флорентин, опираясь на госпожу Френцель, удалялся в темной улице, отвечая хохотом и словами: — Прощайте, почтенная компания!.. Ха! ха! ха! славно!..

Я пошел к себе в комнату. Тетушка Бале шла за мною, не говоря ни слова. Теперь мне все было ясно, я видел, что все надежды мои погибли.

Наверху я высек огня, зажег наши обе лампы и сказал:

— Спокойной ночи, тетушка Бале.

— Прощай, дитя мое,— отвечала она.

Я ушел к себе в комнату и запер дверь. Потом, оставшись один, я сел на постель против лампы и стал размышлять о вещах страшных и бесконечных. Я припомнил все, что случилось со мною с самого рождения... И проклял я свою судьбу! Я вспомнил, что говорила вдова Рошар, что лучше было бы для меня последовать за моим отцом, и нашел, что она права. Что казалось мне тогда, когда тетушка Бале пришла взять меня, таким счастьем, теперь казалось самым большим несчастьем. „Пусть бы она меня бросила,—восклицал я в душе,—я умер бы с голода... Тем лучше! А если бы не умер, то был бы дровосеком, полесовщиком; срубал пни, ел бы раз в год говядину, ходил бы полунагой, терпел бы от холода, снега, ветра, дождя... что за важность! Другого бы ничего я не знал и не был бы так несчастлив! Теперь всему конец. Дурак я был, думая, что Аннета может любить меня; она думает только о том, чтобы сделаться дамой; госпожа Мадлен мечтает об инженерах, адвокатах и нотариусах, а у г. Дюбурга недостает силы воли: он сделает все, что они захотят!..

Все эти мысли пробегали в моей голове, как разлившаяся река. Часы проходили, я не трогался; мне хотелось плакать, но время слез прошло; на груди у себя я чувствовал точно камень, давивший мне сердце; это было в тысячу раз хуже всяких рыданий.

На рассвете я встал и вышел. Когда я проходил, тетушка Бале, надевавшая юбку, крикнула мне:

— Ты уходишь, Жан-Пьер?

— Да,—отвечал я ей—есть спешная работа; г. Нивуа велел мне придти с рассветом... Я там буду завтракать.

— Хорошо,—сказала она.

Я сошел с лестницы и пустился бежать по городу, куда глаза глядят. Двери и ставни были закрыты; полевые работники выходили на работу с заступами на плече.

— Зравствуйте, Жан-Пьер.

— Здравствуйте,—говорил я им..

Мне нужно было прохладного воздуха, который освежил бы меня.

В шесть часов я пошел, как обыкновенно, на работу. В мастерскую пришел г. Нивуа. Я рассказал ему о наследстве Дюбургов. Он нашел, что это хорошо, и что эти хорошие люди стоят такого счастья, в особенности отец Антуан. Я не отвечал, потому что горе давило меня.

В двенадцать часов я вышел; но вместо того, чтобы итти обедать домой, я пошел в кабачок „Трех королей" выпить бутылку вина, так как есть мне не хотелось. К часу я принялся опять за пилу и струг, а лихорадка одолевала меня.

Вечером однакож надо было итти ужинать. Я собрался с духом, но, к счастью, придя домой, я встретил госпожу Ривель, объявившую мне, что Дюбурги уехали в Сен-Витт в карете. Это успокоило меня; мне тяжело было бы видеть этих людей.

XI.

Я тихо входил на лестницу, держась за перила и думая:

„Зачем ты не одинок на свете? Тогда скоро все было бы покончено!"

И когда я уже был наверху, я услышал голос:

— Это ты, Жан-Пьер, я жду тебя уже целый час.

И, подняв голову, я увидал тетушку Бале, в старом желтом платке на голове; большой костлявой рукой она держала лампу, чтобы посветить мне.

— Что ты идешь так тихо?—спросила она.

— Я очень устал,—отвечал я ей.

Мы пошли в мансарду, где в печке светилось еще несколько угольков; на накрытом столе стояла, в ожидании меня, миска, покрытая тарелкой. Тетушка Бале пододвинула мне стул, а сама села на скамейку напротив. Она смотрела на меня.

— Мне есть не хочется,—сказал я ей.

— Все равно, съешь что-нибудь.

Но это было выше сил моих. Я сидел, повесив руки, и не имел силы поднять ложки. Так прошло несколько минут, и вдруг тетушка Бале кротко сказала мне:

— Так ты ее очень любишь, бедное дитя мое?

Эти слова поразили меня, как ножом в сердце. Я прислонился лбом к столу и зарыдал.

— Давно ты ее любишь?—продолжала она.

— Вечно, тетушка Бале,—отвечал я ей,—вечно, но в особенности с начала весны.

И я рассказал ей о своем удивлении в тот день, когда мы с Пикаром увидали ее, проходившую по улице Колодца, как вдруг она показалась мне красавицей, и такой красавицей, что я совсем был ослеплен и задрожал весь, не смея поднять глаз; как она заглянула в окно мастерской, крикнув: „а вы вечно за работой, Жан-Пьер?"—и рассказал о своем смущении и страхе, возвращаясь вечером домой; потом о своих надеждах... о мечтах, что она может полюбить меня когда-нибудь... что это было почти верно... и что в таком случае когда-нибудь утром я послал бы тетушку Бале сделать предложение, и что...

Далее продолжать я не мог. Воспоминания эти душили меня, и я опять начал плакать, как ребенок.

Тетушка Бале слушала меня и тихо говорила:

— Да... да... так... это всегда так! И как человек счастлив... очень счастлив... И все случилось бы так, как ты говоришь, Жан-Пьер: Аннета полюбила бы тебя, она увидела бы, что ты стоишь ее любви, она увидела бы, что в Саверне нет другого такого молодца, как ты...

Могу сказать, такого хорошого и красивого, потому что это истинная правда! Все шло бы своим чередом, и мы все соединились бы на счастье; старуха Бале укачивала бы детей, гордо бы расхаживала с ребенком на руках... Господи! какое несчастие!

Услыхав, что я плачу, она воскликнула:

— Все зло от этих мерзких денег... Ах... мерзкие деньги! Когда они появляются в одну дверь, счастье выходит в другую. Сегодня утром они уехали, чтобы осмотреть свое богатство. С ними уехал этот долговязый болван Бреслау, этот грошовый адвокат, с огромными расчесанными бакенбардами и закрученными усами, как у какого-нибудь тамбур-мажора. Они повезли его оценять имущество, а он, мерзавец, уже обнюхивает приданое!. Какие дураки эти Дюбурги!

Услыхав это, я побледнел, взглянув на тетушку Бале; но она была занята своим собственным отчаянием и кричала, подняв кверху свои костлявые руки:

— Ах, дураки! Они воображают теперь себя богачами и думают, что мешки вечно будут полны! Мадлен и маленькая Аннета приглашали сегодня поутру и меня... Им хотелось показать мне свое серебро и вещи, но я не хотела ехать... Все это не довольно роскошно для меня... Я видывала кое-что получше!... Что такое их наследство? Ничто в сравнении с тем, что Мария-Анна Бале получила в свое время!. Да!.. мы получили наследство в Италии... Нам достались брильянтовыя и жемчужные ожерелья, четки из цехинов, двойные и четвертные пиастры, золотые, зеленые и красные; а целые возы мебели, платьев и священнических риз, светившихся как солнце, а священные сосуды, а старые картины, стоившие тысячи и тысячи франков!... И что же мы со всем этим сделали? Мы сделали то же, что, кажется, сделают и эти Дюбурги: мы все проели, все протратили, все пошло прахом... Да!.. И вот та же тетушка Бале, которую ты видишь, Жан-Пьер, эта тетушка Бале, не хвастаясь, была еще покрасивее мадемуазель Аннеты, у ней были и лучше волосы, и лучше

глаза, и лучше губы; она была высока и красива; Бале гордился ею, и мог гордиться перед целой армией. Ну! и что же осталось от этого всего? За исключением старых плутов, проповедывавших дисциплину и порядок, набивая фургоны своего армейского корпуса,—и которые сделались потом отъявленными мерзавцами,—так, за исключением их, все другие и красавица Мария-Анна первая кончили тем, что стали пилить дрова, лудить кастрюли, чистить котлы или продавать на рынке яблоки и груши, довольные и тем, что зимою могут иметь горячих угольков в грелках! А тот-то, что презирал деньги, что добивался только государств, дворцов и империй, кончил тем, что попал на скалу посреди моря, с балаганом из смоленой бумаги! Вот, Жан-Пьер, это и доказывает, что копейка, приобретенная трудом, лучше мешка с золотом, найденным на могиле покойника. Это должно было бы служить людям уроком; следовало бы понять, что честный работник, как ты, лучше какого-нибудь шалопая Бреслау.

Она хорошо говорила, но все это я и сам знал. Сколько раз рассказывала она мне о своих несчастиях; да и кроме того чужая беда не помогает своей собственной.

Мысль об этом Бреслау перевернула меня, я сидел, все еще упершись лбом об стол, размышляя о том, что я несправедливо уже вытерпел, и думал:

„К чему ты живешь, несчастный?“

Она тоже умолкла, и таким образом молчание продолжалось некоторое время, когда я почувствовал, что она наклонилась ко мне и, взяв обеими руками меня за голову, поцеловала меня.

— Ты молчишь, Жан-Пьер,—прошептала она. — Ты слишком страдаешь, не правда ли, дитя мое? Однакоже, надо же ведь теперь решить, что нам делать.

— Мне надо уехать,—не шевелясь, сказал я ей,—мне надо уехать!

— Уехать,—проговорила она, дрожа всем телом:—да куда же?

— Далеко... Куда-нибудь далеко...

— Нет,— вскричала добрая старушка,—тебе нельзя уехать... Это чересчур, Жан-Пьер... А я-то, я ведь не могу ехать с тобой... Я уж теперь слишком стара.

Тогда я поднял голову и взглянул в отчаянии. Волосы нависли у меня на лбу; я сказал ей:

— Если хотите, я останусь... Но если явится тот, другой... если я увижу его... несчастие!.. тогда все будет кончено!

И видя, что она глядит на меня с удивлением и ужасом, я протянул к ней руки, восклицая:

— Простите меня, тетушка Бале... Я люблю вас, я люблю вас более жизни!.. Я обязан вам всем. Я хотел остаться... поддерживать вашу старость... Я был счастлив, мечтая об этом. Но если я увижу того, я убью его!..

Вероятно, лицо мое выражало сильное отчаяние, потому что бедная старушка залилась слезами. И в то же время она кричала:

— Ты прав, Жан Пьер, да, ты прав... Я знаю тебя... Да и на что я надеялась, господи! Не один, так другой. Уезжай... Да, Жан-Пьер, ты прав! И не беспокойся, мы увидимся... Я не так стара, как полагают; у меня достанет силы еще лет на десять, на пятнадцать... Мы еще раз поживем вместе... потом... потом!.. Я сама выберу тебе жену, хорошую жену; и у нас будут дети... Только не унывай... Пусть пройдет время.

Мы держали друг друга в объятиях и оба рыдали.

— Вы ведь мать моя,—говорил я ей.

— Да, я твоя добрая, старая мать Бале,—говорила она.—У меня только ты и есть, все мое счастье в тебе. Ты едешь... Это тяжело! Ты поедешь в Париж... Ты сделаешься хорошим работником, и почем знать... Я поеду, может... Да, поеду, если это будет возможно... когда-нибудь! Нивуа уже говорил мне, что тебе следовало бы поехать в Париж, но я не хотела, у меня были другие намерения; теперь я рада. Я пойду повидаюсь с Нивуа, тебе нечего тут мешкать.

У меня сердце разрывалось, слушая рыдания этой хорошей и честной женщины. Никогда не думал я, что возможно перенести это.

Она, наконец, замолкла; закрыв лицо своими длинными руками, положив локти на стол, она думала о горе своем в течение тридцати лет; по щекам у нее текли тихо, без всхлипывания, слезы.

Мне же, при виде этого, хотелось все разрушить. Я возненавидел род человеческий, и самого себя, и всех, кого я знал. В голове у меня роились тысячи мыслей; я находил все отвратительным.

Во время этого гробового молчания пробило одиннадцать часов, тогда бедная старушка вздохнула и вынула из кармана платок, чтобы вытереть лицо, говоря:

— Ну, Жан-Пьер... спи спокойно, дитя мое.

Я не мог удержаться от слез и снова упал в ее объятия, повторяя:

— Простите мне, тетушка Бале, простите!

— Да ты ничего не сделал,—говорила она,—ты ни в чем не виноват, бедное дитя мое, от всей души прощаю тебе. Это все несчастная судьба! Если бы я могла сделать себя счастливее себя самой, поверь, я с охотой пострадала бы несколько более... Но пора ложиться спать. Поцелуй меня еще раз и идем спать.

Поцеловав ее несколько раз, я ушел к себе в комнату и растянулся на постели в совершенном отчаянии. Через несколько минут спустя, в деревянную скважину я увидел, что тетушка Бале затушила лампу.

Все это происходило в июне месяце 1847 г.; никогда я этого не забуду.

XII.

Часто мне думалось, что в великих жизненных испытаниях женщины мужественнее нас: вместо того, чтобы падать духом, они, наоборот, поддерживают и ободряют наши силы. Но такие женщины, как тетушка Бале,—истинная редкость. На другой день она казалась спокойнее и за завтраком заметила мне:

— Послушай, Жан-Пьер, много, много передумала я в эту ночь, и теперь все это представляется мне совершенно основательным. Мысль о разлуке с тобою, в первую минуту, была для меня горьким ударом; но ведь рано или поздно надобно было бы прибегнуть к этому решению. Чему ты можешь выучиться здесь? Ведь не в Саверне можно сделаться порядочным работником: нужно повидать свет, приглядеться к работе мастеров. Притом и конскрипция много бы стеснила нас. Да, эта минута была для меня очень тяжела.

Говоря это, она старалась казаться спокойною, а я притворился, будто верю этому спокойствию; но по глазам ее, налитым слезами, и по дрожашему голосу мне было ясно, что она хотела только утешить меня.

Набросив платок, она вышла со словами:

— Пойду-ка я к Нивуа.

День был воскресный. Долго поджидал я ее возвращения и раздумывал о наших невзгодах. В церкви благовестили к обедне, и ко мне подступили воспоминания о том прекрасном времени, когда я сидел у хора рядом с маленькою Аннетою: пение под орган, наш выход из церкви среди толпы народа, радость возвращающейся семьи, готовой собраться вокруг стола, голос тетушки Бале, говорившей мне в корридоре: „иди-ка, у нас есть что-то хорошее“,—и крик маленькой Аннеты: „и у нас есть что-то хорошее!“ И ведь это было накануне... Как быстро улетает счастье, господи боже мой, как быстро оно улетает, и как тяжелы позднейшие о нем воспоминания!

Часов в одиннадцать Бале возвратилась.

— Я все устроила,—сказала она.—Нивуа находит, что все это хорошо. Ему хотелось бы продержать тебя до конца месяца, чтобы иметь время приискать другого работника; но он так доволен твоим послушанием его советам, что об остальном заботится немного. Вот твое жалованье, которое я сейчас же от него получила: это тебе на дорогу. Мимоходом я взяла для тебя место в дилижансе на завтра к пяти часам вечера—вот и билет.

Теперь пойду поищу, что для тебя необходимо: самое нужное—новые рубахи и пары две прочных башмаков.

— Ах, тетушка Бале,—сказал я ей,—вы тверже меня.

— Полно, Жан-Пьер,—сказала она,—когда человек решился на что-нибудь, так откладывать нечего. Я ездила, слава богу, не мало! и знаю, что надо.

Она старалась мне улыбаться, но я мог разве только не плакать. И между тем нужно было сесть за стол и обедать, сохраняя самое обыденное спокойствие. Смотреть друг на друга мы не смели и при каждом слове должны были собираться с духом, чтобы как-нибудь вдруг не изменить своей наружной твердости.

Наконец, она сказала мне:

— Не пойти-ли тебе, Жан-Пьер, к господину Васеро? Ведь ты знаешь что он тебя любит.

— Пойду,—не замедлил я ответить,—а право, тетушка Бале, меня бы стало на то, чтобы совсем забыть о нем.

В то же время я взял шапку и вышел. Я был совершенно доволен, что сделал это, потому что оставаться дома и не сметь зарыдать—было уже чересчур жестоко.

Когда я, спустя полчаса, уходил от г. Васеро, он довел меня до двери и обнял, и сердцу моему стало так отрадно, потому что уважение и дружба честных людей всегда приносят отраду.

— Счастливого пути, Клавель,—сказал он еще сверху лестницы:—счастливого пути и доброго здоровья!

— Благодарю, благодарю вас, господин Васеро.

Я вышел в переулок, вполне осчастливленный дружескими напутствиями этого благородного человека.

Тогда могло быть около двух часов, и я хотел воспользоваться остатком дня, чтобы повидаться и с господином Нивуа. И так по переулку я дошел до Лафонтеновой площади. В то время, как гусары пели внизу, хохотали, бражничали и играли в кегли вдоль дровяного сарая, старый столяр сидел с своим приятелем Панаром в комнате над нашею мастерскою; завидя меня издали, когда я проходил мимо его окна, он закричал мне:

— Сюда, Жан-Пьер!

Я прошел через мастерскую и поднялся наверх. Бутылка, как водится, торчала перед ними, находясь в обществе двух до половины налитых стаканов.

— Стакан, Маргарита!—крикнул господин Нивуа на лестницу и затем, когда я входил, он сказал: — Ну, так как же, ты едешь? В добрый час!

Я поклонился господину Панару, который также заметил, что я делаю хорошо. Потом стакан, принесенный Маргаритою, был наполнен, и мы чокнулись за здоровье друг друга.

— Вот видишь ли, Жан-Пьер,—говорил господин Нивуа,—порядочный работник должен побывать в Париже, где может изучить свое ремесло основательно. Самые искусные провинциалы, считающие себя образцами, приходят в изумление, когда, съездив туда, узнают, что людей их разбора считают там дюжинами, и что многое множество есть там таких молодцов, которые могли бы поучить их, как вбивать колья и стругать щепки.

— Да,—говорил господин Панар, — там-то и можно образоваться. Иностранцы знают это отлично, и вот почему город переполнен немцами, англичанами, русскими, итальянцами и испанцами, которые, спустя несколько лет, разъезжаются, чтобы у себя дома щеголять добытыми у нас познаниями.

Это были старые, закадычные приятели, во всем между собой согласные: чуть только один из них говорил, другой немедленно ему поддакивал; по воскресеньям носы их становились сизыми, тоже по причине взаимных поддакиваний.

Я оставался у них до семи часов. Господин Нивуа хотел удержать меня на ужин, но, узнав, что я должен ехать завтра в пять часов, ограничился обещанием зайти в контору дилижансов с рекомендательным для меня письмом к г. Браконо, улица Ла-Гарп, № 70.

Расставаясь со мной, он всунул мне еще пятифранковую монету в руку, и так как я отказывался взять ее, получив сполна свое жалованье, то он сказал мне:

— Жалованье жалованьем, а вот это экю ты должен взять, чтобы сделать мне удовольствие; где-нибудь в дороге ты выпьеть на него за здоровье Нивуа, а поэтому не смеешь отказаться.

Надо было взять. Возвратясь домой, я рассказал о своих визитах тетушке Бале, которая осталась, повидимому, довольна. Она выпорожнила уже свой большой чемодан, чтобы уложить в него мои вещи. Кто посмотрел бы на нас во время ужина, никогда не мог бы и подумать о самом тяжелом горе, которое грызло нас обоих; мы говорили о моей поездке, как о деле совершенно натуральном, которое должно было случиться рано или поздно; мы надеялись только его отсрочить, но минута разлуки настала ранее, чем мы предполагали.

И об этом мы долго говорили. Но зато ночью, зная, что на следующий день нужно было ехать, и что в дилижансе взято уже для меня место, при мысли, что, быть может, мне никогда не придется более увидеть ни Аннету, ни ту, которая приютила и вскормила меня своим трудом, воспитала как родное дитя, что не увижу ни старого дома, где прошло мое детство, ни старого города, ни гор, ни лесов,—при раздумье обо всем этом я проливал горькие-горькие слезы. И слышно мне было, как благородная женщина, моя вторая мать, тихонько покашливала по временам, как будто чем-то захлебываясь, потом вставала, украдкой подходила к шкапу и прислушивалась к моей комнате. Я хотел уверить ее, будто сплю,—но до сна-ли мне было!

На рассвете следующего дня я отворил свою дверь: старушка сидела уже перед моим чемоданом с сложенными на коленях руками. Если бы мы только взглянули друг на друга, то опять могли бы разразиться всхлипываниями. Но она была тверже меня и все продолжала мне улыбаться.

— Ведь ты не забудешь меня, Жан-Пьер,—сказала она.

При этих словах я опять убежал в свою комнату, рыдая, как безумный.

Богатым людям расставаться легче; но бедняку, не знающему, что с ним будет,—это очень трудно.

Рассказывать о своем отъезде из Саверна очень, очень тяжело. Но тем не менее надобно говорить обо всем, надобно перебирать воспоминания и тяжелые испытания, и светлые минуты, потому что в этом-то и жизнь.

В четыре часа тетушка Бале управилась с моим чемоданом: он был заперт. Я глядел на старушку и помогал ей. Она объясняла мне то и другое, а я слушал ее, и в голосе ее мне чудился голос моей родной матери. В глазах моих она должна была читать мои чувства, потому что казалась более довольною и по временам говорила:

— Успокойся, Жан-Пьер, мы свидимся с тобою скоро. Всему ведь есть срок.

— Да! — отвечал я чуть слышно.

— Все перемелется, мука будет,—твердила она,—не нужно только отчаиваться. Теперь я совершенно оправилась. Однако, пора и собираться, Жан Пьер, как бы не опоздать. Вот возьми, спрячь это в карман, дитя мое, да смотри, не потеряй.

— Это что такое?—удивился я.

— Ведь сейчас по прибытии в Париж работы не добудешь, придется и пообождать. Так вот я и припасла тебе это... на случай болезни... при том же этот набор... Здесь шестьдесят франков.

— А вы как же?

— Э, я, посмотри-ка, посмотри: денежки у меня есть.

И она показала мне нашу маленькую коробочку, в которой лежали пять или шесть пятифранковых монет.

— Ведь я себя не забываю,—прибавила она.

Я был просто ошеломлен. Я обнял ее, потом взвалил себе на плечи чемодан, и мы вышли.

Подходя к конторе дилижансов, мы издали заприметили дядю Нивуа, который поджидал нас у ворот. Подойдя к нам навстречу, он сказал:

— Вы являетесь как раз во-время, а то бы, пожалуй, опоздали. В то же время он передал мне письмо к го-

сподину Браконо, которое я спрятал в карман своей жилетки.

Я был в страшном волнении: чемодан мой лежал на пяти или шести других чемоданах; народ входил и выходил. Я слышал, как дядя Нивуа повторял, что все пойдет отлично, и что я человек с характером, но так как дилижанс все не показывался, то мы с тетушкой Бале стояли тут ни живы, ни мертвы.

Иногда, встретившись глазами, нам становилось жаль друг друга, при виде нашего страха. Она слова не могла сказать.

Вскоре зазвучала и труба кондуктора: в конце главной улицы показался громадный дилижанс, с его тюками, огромным кожаным чехлом, четырьмя серыми конями, наконец, рекрутами, сидевшими в красных фуражках на наружных местах экипажа.

— Вон он, вон он!—закричали все.

— Ну, Жан-Пьер, обнимемся-ка,—говорил мне Нивуа.

А я взглянул на тетушку Бале, она протянула ко мне руки, хотела говорить — и не сказала ни полслова. Тогда я бросился к ней, сжал ее... Но таким объятиям нет имени.

Глухое перекатывание колес раздавалось все ближе и, наконец, смолкло. Бляхи лошадей звякали у двери, путешественники кричали, на своем плече я чувствовал руку Нивуа, который говорил и тащил меня,—но я ничего не понимал, ни о чем не думал, а все сжимал мою бедную старушку Бале.

Не знаю, как мы расстались и каким образом я очутился в дилижансе между шестью или семью рекрутами-охотниками, которые пели, угощаясь водкой. Я обернулся и закричал:

— Тетушка Бале!

Она стояла, прислонясь к двери. Нивуа силился ее увести, но она не трогалась с места. Я открыл дверцы и хотел выйти, но в это мгновение громадный экипаж тяжело качнулся и тронулся с неописанным шумом, кондуктор трубил, углы крыш уходили назад, там и сям

оглядывались прохожие, сторонясь к стенам домов; потом показалось открытое небо, по дороге повстречалась роща старых зеленых елей с маленьким квадратным виноградником; мы выехали за город, стали взбираться по отлогости, и экипаж пошел медленнее. А там далеко, за лесами, я различал свое первое родимое гнездо. Во мне заговорили воспоминания о моем отце, бедном дровосеке, и, не смущаясь хохотом и песнями рекрутов, я склонил голову на колени и заплакал. Эх, о чем только я тогда не передумал!

Когда экипаж был на половине отлогости у очаровательного ручья, откуда спускается тропинка в долину Саверна, дверцы отворились и раздался голос кондуктора:

— Не хочет ли кто-нибудь размять ноги пешком?

Рекруты вышли, а я остался один в дилижансе, шагом поднимавшемся по извилистой дороге. Лошади храпели; некоторые из пассажиров шли вместе с кондуктором по правую сторону через кустарники; я же, прислонясь к маленькому окошку, видел влево восхитительную Шлиттенбахскую поляну, дом господина Леклера в ее глубине, беседку на скале, разросшиеся деревья и вверху под облаками развалины О-Барра и Герольдсека; а там далее синела привольная равнина Эльзаса, и у подошвы отлогости выглядывал старик Саверн, в котором столько отрадных деньков было прожито мною. „Ну, вот ты опять один одинешенек на белом свете,— рассуждал я сам с собою. — Твои знакомцы не забудут о тебе в течение месяца, полгода, пожалуй года: но ведь у всякого из них есть свое дело; когда-нибудь, случайно, вспомнят они о Жан-Пьере, а там и всему конец... Одна тетушка Бале не забудет тебя. Все те же будут и деревья, и скалы, и старые дома, и гора, и развалины, на которые ты глядел сызмала, глядишь еще в эту минуту, и которые погружали тебя в мечтания. Другие будут глядеть на них, другие станут передумывать, что было передумано тобою, но тебя уже здесь не будет! Аннета разбогатеет... выйдет замуж... Да что же такое жизнь, господи милосердный!...“

Вот какие мысли кружились в моей голове, нагоняя на меня невыносимую тоску.

Когда экипаж поровнялся с трактиром дяди Филлера, рекруты уселись попрежнему, а кондуктор затрубил с своего места. Лошади понеслись мерным галопом, и пыль, поднимаясь вверх, застилала придорожные потоки, кусты и травку; лес убежал назад, и мы были среди ровной степи.

Час спустя, мы миновали Гондерлохскую ложбину и деревню Четырех Ветров. Потом, переменив лошадей на станции первого разряда, мы прибыли в Пфальсбург с его форпостами, его мостами, его мрачными воротами, его военным плацом. И мимо всего этого—в галоп! Это был какой-то смутный и тяжелый сон; еще тяжелее стало на душе, когда ушли назад леса и видна была одна широкая, сплошная степь над Миттельброном, да там вдалеке синели Вогезы, умирая на посеревшем небе.

Станции шли без конца. Сначала на небе сияли звезды и месяц, а потом тучи покрыли небеса. Рекруты храпели, а я смотрел, как темная земля мелькала мимо. Времени прошло много.

Мы приехали в Люневиль, где драгуны прохаживались под фонарями в кордегардии. Жандарм в большой треуголке заглянул по долгу службы в карету, но никого не разбудил. Кондуктор сказал ему:

— Это рекруты-охотники.

После этого мы поехали дальше и часам к трем утра приехали в большой город, с широкими мощеными улицами и чудными домами: это был Нанси.

Дилижанс остановился во дворе, окруженном службами, в „Европейской гостинице", как было написано на фасаде. Кондуктор отворил нам дверцы и сказал, что может пробыть тут полчаса. Все вышли. Что было делать мне ночью в совершенно незнакомом городе? Какой-то господин, с салфеткою под мышкой, спросил, не угодно ли что-нибудь покушать? Двое или трое из путешественников пошли за ним, а другие разошлись в разные стороны. Я вышел за ворота и при свете луны

сел на скамейку. Передо мною тянулась большая улица, а в конце ее виднелась чудесная чугунная с позолотой решетка, перед большой площадью, и впереди нечто вроде дворца, перед которым по тротуару ходил взад и вперед часовой.

Я никогда не видывал ничего лучше и больше этой улицы, решетки и площади. Я пошел к решетке, чтобы посмотреть. Все кругом спало, и слышались только голоса разговаривавших пассажиров из нашего дилижанса и прислуги, уводившей лошадей; а перед дворцом, ярко освещенным луною,—шаги часового. Богатые люди попадаются везде.

Мне очень хотелось посмотреть дальше, на два фонтана под деревьями, вода из которых падала в тени их, и на очень большую статую посреди площади, но я боялся опоздать и вернулся сесть на скамью, чтобы быть тут к отъезду дилижанса.

Напротив отворилась дверь в маленький кабачок, чтобы привлечь путешественников, но туда вошли только рекруты, напевая родные песни.

Все это сохранилось у меня в памяти, потому что я был в первый раз в большом городе, и думал: „Если Нанси самый обыкновенный город, то каков же должен быть Париж? Как не заблудиться в таких улицах?“ Я представлял себе Париж то чудесным, то страшным.

В половине четвертого кондуктор и прислуга вернулись с свежими лошадьми, и в то же время явилось множество нищих, мужчин и женщин, и стали просить милостыню.

Начинало светать. Когда мы пришли садиться в экипаж, кондуктор, добрый толстяк, с толстыми щеками, красным носом, маленькой шапкой из заячьей кожи, подвязанной под подбородком, и в высоких до колен бараньих сапогах, спросил меня:

— Вы сидите с рекрутами?

— Да,—отвечал я.

— Если хотите сесть на наружное место, так вам будет лучше.

Я воспользовался позволением, и сел подле него на удобное, просторное место, обитое кожей. Половина рекрутов осталась в Нанси, так что наверху мы сидели с ним вдвоем и перед нами ямщик.

Таким образом мы поехали дальше. И так как лицо мое понравилось этому кондуктору, то он спросил у меня, отчего я такой скучный... и не попал ли я в набор? Я отвечал ему, что нет, но что мне грустно покидать родину, что я простой столяр, и не знаю Парижа, куда еду работать.

Кондуктор очень разумно сказал мне, что огорчаться тут нечем, что рано или поздно надо было уехать из деревни, где пришлось бы закиснуть и всю жизнь есть один картофель и совсем пропасть.

Он мне рассказал истории двух или трех его знакомых мастеровых, работой разбогатевших в Париже; называя их фамилии, он говорил: „в такой-то улице, такой-то номер“. Я удивлялся его памяти и с удовольствием его слушал. Таким образом мы проехали город Туль с чудной церковью.

Свежий воздух на верхнем месте, с которого были видны лошади, скакавшие, наклонив головы, поля, луга, виноградники, реки, рощицы, бедные лачужки, какие попадаются только в Шампаньи, и в особенности мысль, что мы приближаемся к Парижу, не давали мне предоваться моему горю.

У кондуктора под скамейкой стояла большая бутылка вина, и он, отпивая из нее, передавал потом всякий раз мне, говоря:

— Хлебните, молодой человек!

После Туля, мы проехали Коммерси, Бар-ле-Дюк и Витри-ле-Франсуа. В Витри пассажиры вышли обедать, а я вынул из кармана большое яблоко тетушки Бале, кусок колбасы и хлеб.

Я помню только, что, проехав весь день, ночь нам пришлось провести опять в экипаже. Просидев так долго и не сомкнув глаз предыдущую ночь, я так устал, что крепко заснул. Проснувшись, я увидал, что колени у

меня закрыты одеялом на бараньем меху, с фартука экипажа стекали капли росы, кондуктор тоже спал в своем углу; и только ямщик, в клеенчатой шляпе, в шинели с тремя капюшонами, сидел прямо с бичом в руках, а внизу громадные упарившиеся лошади скакали, потрясая гривами.

Было, должно быть, часа три. Потом я узнал, что мы миновали Куломье. Тут же в полупросоньи я видел, как мы проезжали маленькие деревушки, крытые соломой. Через каждые два часа мы останавливались, ямщик кричал, лошади ржали, а кондуктор просыпался и слезал. В закрытой карете все спали, а роса скатывалась со стекол. Все это вижу точно во сне. Я сошел только один раз, и то когда уже совершенно рассвело и когда кондуктор растолкал меня, сказав: „Разве не хотите опорожнить бутылочку?“ Тут я проснулся совсем и выпил.

Солнце стояло высоко, было вероятно часов семь. Мы ехали по лесу по отличной дороге; я помню, что я очень удивился, увидав, что вдоль дороги все деревья перенумерованы. Кондуктор сказал мне:

— Мы подъезжаем к Парижу, мы в Венсенском лесу; через час мы въедем в столицу.

Эти слова точно испугали меня, так как веселые шуточки кондуктора не могли помешать думать человеку, вступающему в столицу с намерением зарабатывать свой хлеб насущный,—в столицу, куда ежегодно приходят тысячи с той же целью.

XIII.

По мере приближения к Парижу все изменялось, принимало другой, лучший вид: деревни становились населеннее, дома выше, окна чаще, вывески, которые у нас вешают только над дверьми, забирались на первый, второй, третий этажи, даже под самые крыши, щеголяя красным, голубым, желтым и самыми разнообразными цветами. А внизу теснились друг к дружке кофейни,

трактиры, лавочки. Перед домами были растянуты вперед холщевые навесы, для защиты людей от дождя и солнца. Толпы народа в блузах, сюртуках, в жилетах, в шапках и шляпах шли туда и сюда, бежали, суетились,—ни дать, ни взять—муравейник!

Справа и слева высокие трубы — четыреугольные и круглые—коптили небо своим дымом; впереди чувствовалось что-то большое, особенное, великолепное и страшное. А за нами слева уже удалялось какое-то высокое квадратное укрепление.

— Это Венсен, — сказал мне кондуктор, когда мы проезжали мимо.

Я открыл глаза и невольно, затаив дыхание, размышлял:

„Так вот уж я недалеко от Парижа, и мне придется видеть этот великан-город, о котором я слышу с самого рождения, из которого являются все порядочные мастеровые, все толстобрюхие купчины, все богатые господа, говорящие: то ли дело в Париже“!

А при виде этого движения, этих взад и вперед снующих экипажей я раздумывал:

„Правда, совершенная правда. Париж — что-то особенное для людей. Какое счастье жить работою в Париже, где подмастерья—простые мальчишки, а мастера—подмастерья!“

Дорога стала несравненно шире, была очень хорошо усыпана и посредине укреплена. А в дальнем расстоянии, на самом конце дороги, виднелись две высокие постройки, упиравшиеся чуть не в самое небо.

В это мгновение кондуктор дал кучеру на водку, и экипаж загрохотал как гром. Множество других карет, похожих на дилижанс, но со входом сзади по двум прикрепленным у отверстия ступенькам, проносились мимо нас, битком набитые пассажирами.

— Это омнибусы,—сказал мне кондуктор,—ну-ка, приготовьтесь, молодой человек, мы подъезжаем. Вон видите ли те две высокие стены с промежуточными решетками. Это Тронная застава, слышите ли, а? А дальше

будет Сент-Антуанское предместье. А вон тот огромный голубой свод налево — это Пантеон. А две высокие башни — это Собор Парижской Богоматери. Вот это Сен-Сюльпис, это башня Сен-Жак, а там--вон оно, четыреугольная постройка светло-серого цвета—то Триумфальные ворота.

Чем больше он говорил, тем более было на что посмотреть. И со всех сторон по полям были рассыпаны дома целыми сотнями, на пространстве более двух миль. Мы, однако, еще не были в Париже. Две высокие постройки, казалось, не хотели к нам приблизиться, только часу в девятом я увидел решетку, которую кондуктор называл Тронной заставой.

Тут-то было что поглядеть; сколько набралось экипажей всех возможных форм, больших, маленьких, четыреугольных, круглых. Они тянулись гуськом по семи, восьми и десяти в ряд, отъехав на окраину дороги, чтобы дать промчаться нашему экипажу, который летел во весь дух. Лошади прыгали, гнули шеи, выкидывали наружу ноги—это был шум неистовый и величественный. Кондуктор принялся собирать свое платье и застегивать шинель.

— Приехали!—сказал он.

Действительно, мы въезжали в решетчатую заставу. На секунду нужно было остановиться, чтобы допустить к экипажу таможенного надсмотрщика в его зеленом мундире, и в то время, как он свидетельствовал под чахлом тюки, мы въезжали в великий город и именно в то Сент-Антуанское предместье, которое описывали мне настоящим раем: мы были в Париже!

Нет, те, которые не приезжали сюда из провинции, никогда не поймут, что такое видеть Париж в первый раз! Они представить себе не могут, что испытывает тогда человек, при виде этих бесконечных линий огромных, шести и семиэтажных домов с их бесчисленными окнами, их трубами, которые в населенных частях города тысячами торчат в воздухе, наконец, с их тротуарами, по которым толпы народа безостановочно

идут, идут, и конца нет этому неудержимому движению. Эти экипажи, эта сплошная мостовая, эта озабоченность, до сих пор вами невиданные, запах печенья, пряностей, морской воды, сырого мяса, эти объемистые тачки, наполненные отбросами, этот вечный гул: гу-гу-гу, крики продавцев, хлопанье бичей, скрип колес,—да, наконец, нет сил перечесть всего, что вас ошеломляет!

Когда я услышал все это, на меня нашел просто столбняк. С изумлением следил я, как наш экипаж все более и более углубляется в город, как все виденное мною повторялось, разливалось и направо, и налево по бесконечным, длинным, прямым и косым улицам, с тою же самою муравьиною суматохою.

И посреди этого водоворота мы добрались до обширной площади, в центре которой высоко поднималась бронзовая колонна. Несмотря на колесный грохот, я заслышал крик кондуктора:

— Бастильская площадь!

Но секунду спустя, громадная колонна, вся покрытая золотыми буквами, с ангелом, помещенным наверху и улетающим на небо, — исчезла. А тысячи людей шли, все шли..

И каких только людей я не видел! И торговцев цветами, несших в передниках кучи роз, и людей, у которых на спине помещались маленькие бассейны с колокольчиками, кранами к локтям. Эти люди давали пить прохожим. Да впрочем я видел такое разнообразие предметов, что три четверти их совершенно позабыл.

Когда мы проезжали через площадь, кондуктор, приведя в порядок все свои пожитки, опять уселся и закричал мне:

— Бульвары!

И после мне приходилось в'езжать в Париж, но такого изумления и восторга, как в тот раз, я никогда больше не испытывал. Вообразите себе улицу вчетверо шире других, украшенную роскошными домами с бесконечными рядами балконов, — улицу, которой конца не заприметит глаз; подвигаешься вперед—и вместе с пово-

ротами бульваров видишь опять дома, опять балконы, опять вывески—просто до усталости!

Кондуктор кричал:

— Бульвар Бомарше!.. Бульвар Кальвера!.. Бульвар Тампля!.. Площадь Шатодо!.. Бульвар Сен-Мартен!

Кроме того, он показывал мне направо и налево театры, балаганы, афиши и говорил мне:

— „Гете!..“ „Амбигю!..“ „Сен-Мартен!...“

Наконец, у меня уже не хватало и времени на рассматривание—все исчезало с неимоверною быстротою. И всюду бегущие бесчисленные толпы, экипажи, дамы, господа, толкотня, выкрикиванья торговцев и прочая суета.

Вдруг дилижанс повернул и понесся, сломя голову, по более узкой улице.

— Сен-Мартенская улица!—кричал мне кондуктор,—готовьтесь, мы под‘езжаем к конторе дилижансов.

Мы мчались по улице. Высокие и мрачные, серые и грязные дома с тысячами разноцветных вывесок, казалось, наклонялись вниз; дилижанс стучал немилосердно; пешеходы теснились на тротуарах, продолжая двигаться суетливо. Наконец, экипаж повернул направо в улицу попросторнее.

В эту минуту во все окна нашего дилижанса выглядывали красные фигуры, из любопытства высунувшись наружу.

— Вот хлебный рынок,—успел еще подсказать кондуктор.

Еще несколько секунд — и мы въезжали шагом под свод большого двора конторы дилижансов в улице Сент-Оноре, тогда как экипаж наш был окружен сотнями народа.

В этом же самом дворе помещались в линию множество других дилижансов, приезжавших ежеминутно.

Когда мы очистили экипаж, то были встречены криком людей всякого разбора.

— В гостиницу „Германия“!

— В гостиницу „Нормандия“!

Одни совали нам карточки; другие, блузники с небольшими корзинами, спрашивали нас, куда мы желаем отправиться.

Я просто не знал, что мне делать; взглянул на своего кондуктора, но тот отправился в контору и, держа под мышкою свой кожаный портфель, подошел к отверстию решетки, где принялся сводить счеты с конторщиком.

Сзади нас толпы родственников — мужчин, женщин, детей—все в шляпах, явились встречать своих братьев и сестер.

Все это обнималось, посылало за экипажами и хохотало.

А я был один, по виду не мог быть принят за богача и потому никем не был замечен; все бросились сначала помогать другим, лучшим меня. Я смотрел, как выгружались из дилижанса тюки и чемоданы; находясь посреди этого множества людей, из которых далеко не все имели физиономии честного вида, я был сам не свой: ну, как кто-нибудь унесет мой чемодан, — что тогда будет со мною?

Не зная, на что мне решиться, как пришибленный, стоял я в этой густой куче людей, бегавших взад и вперед, входивших, выходивших, считавшихся, — как вдруг какая-то фигура подходит ко мне со словами:

— Ба! это ты, Жан-Пьер?

Я всматриваюсь и узнаю молодого Монборна, одного из моих прежних товарищей в школе г. Васеро. На нем была небольшая блуза, перехваченная поясом, а под рукою он держал одну из виденных уже мною корзин с двумя ручками. Узнав своего школьного товарища, я никак не мог удержаться, чтоб не броситься ему на шею и не закричать:

— Ты ли это, Мишель?

— Еще бы!—отвечал он весело.

— Ну, что же ты здесь поделываешь?

— Переношу вещи, брат; вот уж два года, как я занимаюсь ремеслом посильщика.

Это был маленький, тощий, косоглазый юноша, что, однако, не мешало ему быть очень сильным; мне же казалось, что он послан мне самим Провидением. После довольно радостных объятий, он сказал мне:

— Ну, а ты, Жан-Пьер, с родины... Что же ты думаешь делать?

— Я по столярной работе. Господин Нивуа дал мне письмо.

— А куда тебе нужно?

— В улицу Ла-Гарп.

— Далеконько,—заметил он,—но подожди меня, я вот кое-что снесу здесь по соседству, а потом вернусь и потащу твой чемодан. Только это, братец, будет стоить тебе тридцать два су... ведь я семейный человек, милый мой... другой бы содрал с тебя дороже...

— Хорошо, хорошо,—сказал я,—поторопись только, я тебя ожидаю.

Он отправился. На сердце у меня немножко отлегло; я остался возле чемодана, который в числе множества других был выложен в контору: я поглядывал на него и не отходил ни шагу. А между тем во дворе, под сводом и на улице все продолжало попрежнему суетиться; прислушиваясь к этому гаму, я никак не мог себе вообразить, чтобы он продолжался беспрерывно, но, однако, впоследствии мне нужно было убедиться, что шум не оставляет этого города ни днем, ни ночью.

Час спустя, когда мною стало уже овладевать беспокойство, Монборн возвратился.

— Ну,—сказал он,—я управился; покажи-ка мне твой чемодан.

— Вот он.

— А билет?

— Есть.

— Ну, и прекрасно.

В то же время он вытащил мой чемодан из-под кучи других, поставил его стоймя в свою корзину, обвил все это веревкой и одним усилием взвалил себе на плечи.

— Твое письмо адресовано к столярному мастеру, в улицу Ла-Гарп?—спросил он меня, не останавливаясь.

— Да.

— Но ведь ты места еще не имеешь?

— Нет.

— И жить в его доме не будешь?

— Нет.

— Ну, вот видишь ли! Надо приютить тебя где-нибудь к нему поближе. Положись на меня; я знаю в улице Латинского квартала такое место, где можно переночевать за десять су; помесячно за квартиру там платят семь, восемь, десять франков, смотря по комнате. Ты сам увидишь, только—плата вперед.

— Ну, ну, веди меня туда,—отвечал я,—да если ты знаешь, где можно недорого пообедать, пожалуйста, укажи, прежде чем уйдешь.

— Как же, как же, там же недалеко в стороне находится ресторан Фликото, одно из порядочных мест в Париже.

— Да ведь там все, должно быть, непомерно дорого?

— Нет, не очень... смотря по кушаньям и винам. Кто ест говядину, платит восемь—девять су; ну, а если потребовать цыпленка и вина, то это, конечно, будет стоить шестнадцать—восемнадцать су и дороже.

Я естественно подумал, что с добрым куском говядины, хлебом и водою мне вовсе не будут нужны цыплята и вино.

Мы проходили мимо громадного здания, окруженного решетками и сверху до низу покрытого лепною работою; улица, по которой мы двигались, уходила под арку этого великолепного здания, но мы взяли налево и пошли в обход.

Монборн сказал мне, что это был Лувр.

Когда мы обошли решетку, находившуюся с правой стороны, глазам моим в первый раз открылись набережная Сены, Новый мост, переброшенный чрез эту реку, и посреди его конная статуя Генриха IV.

По сторонам Нового моста находились лавчонки, в которых изготовлялись разные жареные и печеные снадобья, но впоследствии, как я слышал, все они были разобраны.

Поглядев украдкою на статую и перебежав через мост, мы повернули по противоположной набережной, обнесенной каменной оградой, и вошли с правой стороны в улицу Ла-Гарп. Эта улица точно спускалась под землю и, потом выйдя, тянулась до старой площади Сен-Мишель. Я видел столько дворцов, столько соборов, столько триумфальных арок, столько роскошных домов, столько богачей, катавшихся в каретах; я был так ослеплен всем этим, что обрадовался, вернувшись в улицу Ла-Гарп, серую, облезлую, с многочисленными обитателями, в одних рубашках и в жилетах, в ситцевых платьях и в кофточках, переходящими от одной двери к другой, покуривающими в окнах трубочки, приносящими на себе воду, стряпающими у дверей и вообще, повидимому, живущими в этих местах из поколения в поколение.

В этой улице мне даже запахло старым, родным Саверном... такое все здесь было старенькое, скромненькое. И здесь, как у нас, были торговцы старым железным товаром, и здесь за ветхими черными, круглыми дверями продавались книги, подтяжки и галстухи.

„Да,—подумал я невольно,—здесь не найдешь миллионеров“.

Мне было так отрадно очутиться среди людей моего десятка, которые продавали, покупали из-за куска хлеба...

По словам Монборна, эта часть города называлась Студенческим кварталом. Повернув налево в следующую улицу, он остановился, наконец, перед узким домом, по крайней мере, в шесть этажей вышиною.

— Ну, Жан-Пьер, мы дошли,—сказал он.

Это ветхое здание находилось позади линии улицы; из-за низкого забора, тянувшегося по направлению улицы, выглядывала крыша этого старого насеста, с окнами,

напоминавшими монастырские решетки в Мармутье. Впоследствии я узнал, что это был ветхозаветный Клюни— хранилище всех допотопных древностей Франции; мой трактир был расположен несколько далее. Как теперь вижу его полуразвалившийся фронтон, угловые камни которого торчали чуть не до неба.

Монборн пошел по узкому коридору, беспрестанно цепляясь чемоданом об его стены; темнота же этого коридора не позволяла нам ровно ничего видеть в четырех шагах перед собою. В то же время обоняние страдало от запаха кожи, смешанного с другими, не менее странными запахами, и в ушах отдавались всевозможные звуки: и удары молота, и шум токарного станка, и чье-то пение, между тем как на дворе все продолжало вертеться, горланить, суетиться.

Наконец, мы вышли на крошечный дворик; когда я взглянул на небо, то мне показалось, что я нахожусь на дне колодца. Я все еще продолжал глядеть вверх, как вдруг кто-то отворил окно подвального этажа и закричал:

— Кто там?

— Проезжающий,—отвечал Монборн.

Дверь в конце коридора отворилась, и из нее показался жирный парень с отвислыми желтыми щеками, в грязном колпаке, с засученными рукавами и сапожничьим ремнем в руке; за этим парнем, которого я, разумеется, принял за сапожника, вышла сухая курносая баба, уже седая; она поглядела на меня, как сорока.

— Вы хотите переночевать?—спросил меня сапожник.

— Нет, я хотел бы нанять комнату помесячно.

— Отчего ж, можно,—отозвался он.—Жаклина покажет вам квартиры.

— Это столярный подмастерье,—заметил Монборн.

А женщина, поглядев на меня пристально, стала ухмыляться.

— Из провинции!—заметила она,—пойдемте!

Отцепив связку ключей с крючка, она начала подниматься вместе со мной, тогда как Монборн медленно следовал сзади.

— Вам будет хорошо,—отозвалась она.

Мы поднимаемся, поднимаемся. Окна становятся все выше, дворик все ниже; наконец, я уже боялся выглядывать из окна, чтобы как-нибудь не полететь головой вниз.

— У нас есть комнаты всяких цен,—сказала старуха,— но ведь молодые люди гонятся за дешевизной.

— Да, согласился я,—если бы у вас была комната за шесть или семь франков... Не успел я договорить, как она с негодованием оборачивается и кричит:

— За шесть франков? Не стоит и подниматься.

Мы были на верхних ступенях лестницы, почти под самыми черепицами. Заметив мое удивление, старуха, которой фигура как бы одеревенела, говорит мне:

— Пожалуйте вниз... Самая дешевая цена у нас восемь франков и вперед...

— Ну, покажите же мне комнату в восемь франков,— сказал я, несколько оправившись.

Поднявшись на последние верхние ступеньки, она отворила маленькую дверь между стропилами. Я заглянул и увидел, что то был угол крыши; на кровати, приставленной к углу и источенной червями лежал матрац, который вместе с одеялом был, право, не толще лепешки. Против постели помещался стол с кружкой воды на нем; в крыше было проделано окошко, задвигавшееся сверху вниз.

Жутко показалось мне здесь поселиться.

— Ну, что же, решайтесь,—говорила старуха.

Я не мог быть уверенным, что сразу найду себе работу; ссудить меня деньгами было некому, и единственным моим обеспечением в городе, где всякий думал только о себе, была бережливость; сообразив все это, я отвечал ей:

— Извольте! Если нет подешевле, я согласен занять эту комнату.

— И хорошо делаете,—сказала она,—а жильцов у нас всегда довольно.

Сходя вниз, она указала мне в углу на что-то вроде умывальника и сказала:

— Вот здесь вода.

Монборн все еще поднимался; я возвратился с ним в свою комнату, которую тот очень похвалил, тем более, что там оставалось место и для чемодана. Видя, что он торопился уйти, я заплатил ему тридцать два су, и он ушел, рассказав мне, что отсюда через два дома по правую сторону около отеля Клюни был ресторан.

Я затворил дверь, сел на постель, схватился за голову руками и почувствовал такую тоску одиночества среди такого города, вдали от участия, среди чужих людей, что в первый раз мне захотелось быть солдатом.

— Ну, что я буду делать на свете?—размышлял я.— Другие счастливы, у других есть дома, жены или отцы и матери, братья и сестры. А у меня, кроме бедной старой тетушки Бале, никого-никого нет... Ну, что же такого, если я и поступлю в военную службу: меня будут учить маршировать, но за то мне дадут пищу, платье, квартиру, я не буду знать никаких забот. Я буду защищать закон, и если даже мастеровые станут бесчинствовать и бунтоваться, то и тогда я буду действовать заодно со своим полком. Дядя Нивуа, пожалуй, рассердится, но не могу же я существовать один-одинешенек... Не ужасно ли жить одному среди людей, которые думают только о том, чтобы выманить у вас деньги, которые улыбаются вам, когда у вас есть туго набитый кошелек, и поворачиваются к вам спиною, когда у вас нет ничего.

Я приуныл сильно. Утешать меня было некому; тоска по родине меня съедала.

В то же время, когда все эти грустные мысли бродили в моей голове, я припомнил, что отец Эммануэля, моего бывшего товарища, предлагал мне посетить его сына, занимавшегося изучением права и жившего в Латинском квартале. Хотя бы только взглянуть на него—и это было бы мне уже так отрадно!..

Продолжая раздумывать, я вспомнил, что он жил в Песчаной улице, номер 7. Но прошу покорно приезжему отыскать Песчаную улицу в Париже!.. А мне всетаки хотелось попробовать. Через несколько минут явилась старуха с полотенцем, которое она положила на кружку, говоря:

— Постельное белье и полотенца будут переменяться каждый месяц. А о цене вам известно--восемь франков и вперед...

Я понял, почему так скоро явилось ко мне полотенце, расплатился со старухой и спросил ее, не может ли она сказать мне, далеко ли отсюда Песчаная улица.

— Нет, недалеко; разве вы кого-нибудь там знаете?

— Да, там живет студент прав, с которым я вырос вместе.

— А!—отозвалась она почтительно,—вот уж мой муж расскажет вам, где это. Если вам что понадобится, милости просим не церемониться с нами.

— Теперь мне нужно только остаться одному,—отвечал я ей.

Старуха ушла. Я налил в кружку воды, отпер чемодан, умылся, надел чистую рубашку и новое платье. Солнце играло на стеклах моего окошка, и неугомонный шум снаружи доходил даже до меня, под самую крышу.

Хорошенько заперев свой чемодан и дверь комнаты, я стал спускаться, размышляя о том, как бы отыскать Эммануэля, который один мог подать мне добрый совет и поддержать мою твердость.

XIV.

Когда я сходил по лестнице, то еще более был поражен жалким видом дома. В длину грязной лестницы, вместо перил, была протянута засаленная веревка; у крошечных дверей, означенных номерами, лежали истертые осмыканные соломенные подстилки; в окнах шести этажей, в тени двора, торчали горшки с бедненькими, поблекшими цветами; и то, и сё проветривалось по сто-

ронам; со ржавых сточных труб пенилась внизу грязная вода; дом был набит портными, жестяниками, токарями, швеями—словом, всеми жалко прозябавшими семьями, которых члены, не глядя друг на друга, стучали, пели, свистали, вертели колеса, кололи иголками.

„Ведь это тоже Париж,—раздумывал я;—если в этом городе есть дворцы, пышные отели, бесконечные расзолоченные балконы, то есть также и такие места, куда не заглянет никогда солнышко, где работа кипит год за годом, безостановочно, и нет ей горемычной конца... Нет, не верил я больше, что столица—земной рай. И чем ниже я спускался, тем лестница становилась мрачнее; внизу было совершенно темно. Ощупью стал я отыскивать коридор и услышал голос привратника:

— Эй, послушайте!

Я обернулся.

— Ведь вам нужно в Песчаную улицу, номер 7?

— Да.

— Ступайте же вы по нашей улице направо, потом поверните в первую улицу налево. Там вы выйдете на Сорбонскую площадь, а дальше будет Песчаная улица. У вас там приятель-студент?

— Да, мой прежний школьный товарищ.

— А!—отозвался тот, поглядев на свою жену.

Наконец-таки я различил, что они помещались в маленькой комнатке в углу коррндора, но мне нельзя было терять времени на рассматриванье.

— Так не забудьте же, как выйдете—направо, потом налево, а потом пойдете через Сорбонскую площадь, прибавил привратник, усаживаясь за работу.

И вот я опять очутился посреди страшной давки торговцев платьем, водоносов, овернских угольщиков, экипажей, которые так и мчались, так и мчались неудержимым потоком. Я не забыл объяснений привратника и, несмотря на оглушительный стук больших телег, наваленных камнями, несмотря на крики кучеров и тысячи других, мне совершенно неведомых, возгласов, нашел-таки, и довольно скоро, Песчаную улицу, лежавшую вправо от улицы

Сен-Жак. Она шла до угла старого фонтана Сен-Мишель, и вдоль виднелись только книжные лавки, студенческие кафе наверху и муниципальные кордегардии в середине. Все это я точно вижу перед собою.

Я шел медленно и отыскивал седьмой номер, который, наконец, увидел под вывеской: „книгопродавец Фроман Пернетт“.

В это мгновение сердце мое почти замерло.

„Как-то примет меня Эммануэль,—раздумывал я,—он, которому предстоит карьера судьи, королевского прокурора или другая завидная доля; а мне на роду написано быть и теперь, и до гроба простым мастеровым?“

С такими мыслями вошел я в коридор. Как теперь вижу перед собой гипсовую статую, изображавшую молодого человека, увенченного цветами и держащего в руке стеклянный шар. Возле этой статуи находилась в тени стеклянная дверь, которую я никак не смел отворить. Но вот выходит какая-то толстая угреватая женщина.

— Вам кого угодно?—спрашивает она меня.

— Не могу-ли я видеть господина Эммануэля Доломье?

— Во втором этаже, номер 11,—объяснила она, опять затворяя за собой дверь.

Я поднялся по довольно опрятной лестнице и без труда нашел мне нужный номер. Ключ был в замке; мне слышно было, как в этой квартире пели, хохотали, словом—веселились, не то, что на нашей улице, где не бывает праздника, где видишь одну бесконечную ломовую работу. Несколько минут прислушивался я к женскому смеху, потом тихонько постучался; раздался голос Эммануэля:

— Войдите!

Я отворил дверь. Между двумя высокими и светлыми окнами сидел и писал Эммануэль, в прекрасном небесно-голубом халате, заваленный грудами старых книг; по левую сторону находилась его постель, с белым пологом,

и черный мраморный камин, на котором стояли дорогие часы, а сзади зеркало.

— Ба, это Жан-Пьер!—закричал он, повернув голову и расставляя руки.

Уж один звук его голоса был для меня утешением; мы обнялись, как в тот раз, когда выходили из реки в долине Плоской скалы.

— Какими это судьбами? — говорил он. — Отлично, вот бог послал земляка; мы с ним пообедаем сегодня вместе.

Он хохотал, я же чувствовал, что я весь побледнел.

— Что с тобой, Жан-Пьер?—спросил он меня.

— Ничего, ровно ничего. Я так рад, что тебя вижу и что ты так радушно меня принимаешь.

— Скажите, пожалуйста! Да разве ты считаешь меня подлецом? Полно, дружок, полно... садись-ка вот в это кресло. Знаешь ли, вчера я получил это письмо от отца: пишет о наследстве Дюбурга, а впрочем нового ровно ничего!

Я видел, что он был вполне доволен, весел, и это радовало меня самого. Сняв свой великолепный халат, он принялся умывать себе руки и лицо, расчесывать волосы и русую бородку, суетился, бегал взад и вперед, поглядывал на меня, смеялся и говорил:

— Великолепно! Я вот окончил работу, мы побродим вместе, Жан-Пьер, я познакомлю тебя с Парижем.

В то же время я рассказывал ему подробно дело о наследстве, но совершенно умалчивал о моих чувствах к Аннете. Он хвалил мое намерение усовершенствоваться в ремесле; когда же я не мог утаить от него, как тревожила меня трудность найти себе скоро работу, он сказал мне, надевая пальто и серую шляпу:

— Э, голубчик, ведь такой лихой работник, как ты, не будет сидеть без дела. Будь спокоен; так как у тебя есть рекомендательное письмо от господина Нивуа, то мы сейчас же пустим его в ход.

Поглядев на адрес, он сказал:

— Да ведь это в двух шагах отсюда; пойдем!

Все мои опасения рассеялись. Эммануэль, в его пальто, шелковом голубом галстухе, шляпе, с его остренькой бородкой, с его толковой речью и добрым сердцем, представлялся мне каким-то божеством. И какая разница между хорошим образованием и горькою необходимостью добывать себе кусок хлеба ручным трудом.

И как отрадно действует на каждого порядочное образование!

Рука об руку мы вышли на Песчаную улицу и стали глазеть по сторонам на девушек, куривших в окнах крошечные папироски. Улица была заселена студентами, которые нахлобучивали на бекрень огромные красные и синие шапки, и почти все жили в обществе женщин.

Женщины эти, забывая чувство личного достоинства, приходили к ним ради их молодости. Лучше мне прямо все это рассказать, потому что это правда. Эти женщины были с ними, как их законные жены, они ходили с ними танцовать на балы, и некоторые даже курили, чтобы достать им удовольствие.

Еще много мне надо рассказать вам; но мне понадобились бы целые месяцы и недели, если бы я только захотел дать вам понятие о старой покатой улице, о старых книгах, разложенных по окнам, о наружных выставках с книгами, которые студенты открывают и прочитывают, о женщинах и девушках, бесцеремонно прогуливающихся и, подняв нос, издали смеясь, как юноши, покрикивающих своим приятелям: „эй, Жан! эй, Жюль! как поживаешь?... Иду наверх“... и так далее. Да, понадобились бы целые месяцы, если бы я вздумал описывать вам старый фонтан Сен-Мишель, с круглым жолобом, нишей, двумя чугунными горлышками, окруженный хозяйками квартала, с засученными рукавами, водовозами, развозящими воду в боченках на тележках; если бы я вздумал говорить о примелькавшейся мне старой площади Сен-Мишель, сырой, серой и окруженной старыми домами и вечно набитой крикливой толпой и бесконечными возами. А если бы я вздумал описывать эту старую площадь, Песчаную улицу, Сорбонскую площадь, улицу Медицинской школы.

улицу Матюрен-Сен-Жак, улицы Фуэн, Серпант, похожие одна на другую по старости и выходившие в улицу Ла-Гарп,по которой лавки, виноторговли,маленькие гостиницы, меблированные комнаты, кабачки тянулись непрерывной цепью до самого старого моста против Сите.

Посреди всего этого хаоса, между старых крыш, труб и флюгарок, возвышались в тени Сорбонна, отель Клюни, Терм де-Жюльен, более старые, чем даже развалины Герольдсека, Медицинская Школа и т. д., и т. д. Разве можно все это рассказать? Все это я видел, и довольно с меня!

Эммануэль, как столичный житель, ни на что уже не обращал внимания, тогда как я с жаром рассуждал сам с собою:

„Эх, если бы найти работу, все бы пошло отлично. Какая страшная разница жить в Париже или в таком городишке, как Саверн, где городской сержант глядит чуть не маршалом Франции, а супрефект уж просто королевич! Как меняются наши понятия!“...

С такими мыслями очутился я в улице Ла-Гарп, как вдруг Эммануэль остановился у ворот и, глядя вверх, сказал:

— Номер 70, Браконо, столярный мастер. Ну, Жан-Пьер, сюда.

Страх опять овладел мною.

По одну сторону ворот поднималась широкая лестница, а по другую тянулась стена, покрытая афишами и объявлениями; дальше простирался довольно светлый двор, в глубине которого стоял навес, поддерживаемый столбами. В ушах у меня уже отдавался стук молота, шипенье пилы и струга. Мужественные размышления мои исчезли...

Эммануэль шел впереди меня с таким спокойствием, как будто прогуливался по своей комнате. Проходя через двор, мы увидели трех или четырех мастеровых, собиравшихся сколачивать гвоздями ящики; вправо находилась тесная контора, в которой у окна писала молодая девушка.

Вот все, что я мог заметить, потому что, когда Эммануэль спросил господина Браконо, к нам сейчас же вышел из-под навеса старый столяр, высокого роста, худощавый, седой, с глазами, еще не потерявшими живости; на нем была жилетка и передник.

— Я Браконо!—сказал он.

— Очень приятно, господин Браконо,—отнесся к нему Эммануэль совершенно свободно: — вот, рекомендую вам отличного молодого человека и честного работника, который желал бы быть вам полезным, если это можно. Он приехал из провинции, ну и, вы понимаете, на первых порах у него нет смелости; в таких случаях позволительно обратиться к рекомендации первого встречного.

— Вы студент? — спросил старый столяр, ласково улыбаясь.

— Студент прав,—отвечал Эммануэль,—а в нем я рекомендую вам моего прежнего школьного товарища.

Мастеровые продолжали работать, а молоденькая девушка начала глядеть в окно конторы. Это была несколько бледная брюнетка с большими, черными глазами.

— У вас есть законный вид?—спросил меня господин Браконо.

— Как же, и притом у меня есть к вам письмо от господина Нивуа.

— А, так это вас посылает ко мне Нивуа,—сказал старик;—теперь у нас, правда, нет работы, ну, да ладно, мы уж посмотрим. Ну, а что чудак Нивуа—все еще бодр?... как его делишки?...

— Идут хорошо.

— Ну, и слава богу.

Распечатывая письмо, он отправился в тесную контору, а мы за ним.

— Садитесь-ка,—сказал он,—а ну, Клодина, посмотри, что это такое.

Девушка была его дочь. Впоследствии я узнал, что Нивуа часто нянчил ее на коленях. Она прочитала письмо, а старый хозяин твердил:

— Теперь дела мои идут не больно шибко... Однако, нельзя же оставить без внимания письмо старого приятеля, как ты думаешь, Клодина?

— Нет, нельзя, отец. По приезде в Париж работники первое время всегда находятся в затруднении; но потом, спустя несколько недель, они знакомятся с городом лучше и достают работу.

— Ну, да что тут толковать много,—сказал господин Браконо.—Я не могу дать вам теперь постоянное место, но вы будете пока получать от меня три франка поденно, и как только который-нибудь из моих работников отойдет от меня, вы получите его место. Согласны ли?

Разумеется, я поспешил принять это предложение, поблагодарив за него хозяина; на первых порах я бы взял и вдвое дешевле.

— Ну, смотрите же,—подтвердил он,—завтра, то-есть в понедельник, в шесть часов вы должны явиться на работу.

Это был человек аккуратный, простой, смышленый. Эммануэль, с своей стороны, хотел благодарить как его, так и Клодину, зардевшуюся ярким румянцем. Мы вышли вполне довольные, а мне хотелось даже прыгать и кричать во все горло.

— А эта Клодина прехорошенькая брюнеточка,—говорил мне Эммануэль.

Но мне до этого вовсе не было дела: я просто ошалел от радости,как рекрут,выдернувший счастливый номер.

— Ну что, доволен ли ты?—спросил меня Эммануэль, когда мы были уже на улице.

— Да помилуй, еще бы! Ведь ты спас мне жизнь!

Тот захохотал.

Возвратясь на Сорбоннскую площадь, мы вошли в узкую улицу, обставленную старыми зданиями и высокими решетчатыми окнами. Когда мы проходили мимо двух огромных сводчатых ворот, Эммануэль ввел меня в какой-то старый вымощенный двор, окруженный зданиями, похожими на казармы; с правой стороны поднималась в небо большая башня Сорбонны.

— Посмотри-ка сюда,—сказал он мне: —видишь ли напротив нас те двери: там с утра до вечера раздаются речи профессоров о латинском и греческом языках, об истории, о математике, ну, словом, обо всем, что только можно себе представить. Это первые люди во Франции, и всякий имеет право их слушать. В другом здании, которое осталось позади нас, на улице Медицинской Школы, говорят только о медицине, в третьем, на площаде Пантеона, толкуют только о праве, в четвертом, на улице Сен-Жака, объясняют историю и политику. Здесь, друг мой, чтобы выучиться чему-нибудь, стоит только захотеть.

Я пришел в восторг, в особенности, когда он мне сказал, что все это ничего не стоило, что зимою комнаты хорошо отоплены, и что государство платило ученым за то, что они учили юношество.

Из дверей выходило множество студентов с портфелями, полными тетрадок, под мышками. На этих студентах вместо красных шапок были надеты старые, помятые шляпы и черные сюртуки с сильно потертыми локтями. Они были бледны и шли, согнув спину и ничего не видя.

— Эти бедняки, может быть, будут когда-нибудь первыми людьми во Франции,—сказал мне Эммануэль,— а те великолепные франты, в нарядных фуражках, в клетчатых панталончах, с длинными трубками, будут-просить принять их и с непокрытой головой будут просить местечка контролера или мирового судьи в какой нибудь деревне.

А я думал:

„Очень может быть! Какое счастье получать франков сто в месяц от отца и матери и пользоваться возможностью учиться. К несчастью, на одном желании не выедешь: прежде всего нужны сто франков!"

На старой Сорбонне пробило пять часов; я сильно призадумался, но Эммануэль сказал мне:

— Ну, Жан-Пьер, пора обедать; после обеда отправимся погулять. Ведь в продолжение недели нам нельзя

будет видеться часто: воспользуемся же, по крайней мере, первым днем нашего свиданья.

Он взял меня опять под руку. Сделав несколько шагов, мы вошли в сырой, узкий, ветхий, как и улицы, переулок, который проходил позади дряхлых построек и вел к монастырю Сен-Бенуа.

Это одно из мест в Париже, наиболее напоминающих двор старой саверпской синагоги. В мое время глаз всегда встречал там слуховые и длинные узкие окна, на которых было развешено грязное белье, бесконечные крыши с их бесчисленными трубами, стены, выдолбины, наконец, заплесневелые, сырые закоулки, заваленные всяким сором.

Это милое убежище было, конечно, совсем не мощено и сообщалось с улицей Сен-Жак посредством узкого прохода, в средине которого был вбит столб, для предупреждения въезда в эту щель экипажа; на улицу же Сен-Жак вел из нее другой, более просторный переулок.

Сколько раз приходилось мне и завтракать, и обедать с Эммануэлем у Обера возле монастыря Сен-Бенуа! Дом, где помещался его ресторан, находясь насупротив узкого прохода, был единственным чистым и выкрашенным домом; внизу его тянулся ряд окон, вверху была небольшая отлогая крыша, а внутри три просторные залы, занятые рестораном. В маленькой средней зале, слева от стеклянной двери, за конторкой сидел г. Обер, эльзасец, с длинным острым носом, живыми глазами, в маленькой плоской фуражке, черном галстухе и стоячем воротнике.

Было еще рано, когда мы вошли, и потому господин Обер сказал:

— Вы сегодня из ранних гостей, господин Эммануэль.

И в то же время он протянул моему товарищу табакерку.

Залы, сообщавшиеся одна с другой двумя квадратными дверями, были еще почти совершенно пусты; только

там и сям за маленькими столиками сидело несколько молодых людей; первый раз в жизни я увидел тогда, что можно было есть и заниматься при этом чтением. Благовонный запах, врываясь с левой стороны в залу, не замедлил возбудить во мне охоту покушать.

— Ну, что же, щепоточку,—докучал господин Обер.

— Благодарю,—отвечал Эммануэль,—я не нюхаю.

— Да, да, вы нравственный молодой человек,—заметил господин Обер и поглядел на меня.

— Это товарищ мой,—отозвался Эммануэль,—из Саверна.

— А, очень приятно... Землячок!

Затем мы вошли в залу, находившуюся с правой стороны.

Эммануэль повесил на стену мою фуражку и свою шляпу, усадил меня против себя у открытого окна и потом сказал:

— Ну ка, чего бы нам такого... Во-первых, бутылку доброго вина с зельтерской водой, потому что жарко, потом, две порции супу, две порции бифштекса, а там; увидим—так, что-ли?

— Послушай, Эммануэль,—сказал я,—не издерживайся, пожалуйста, ради меня: кроме куска говядины, хлеба и воды мне ничего не нужно.

Тот рассердился.

— Поди ты! Хорошее угощение для старого товарища—кусок мяса, хлеб да вода! Что ж, я по твоему скряга, что ли?

И, не желая меня слушать, он закричал:

— Эй, гарсон! две порции супа, вина, зельтерской воды!

Я увидел, что нужно было молчать. Гарсон, завитой во всю и прозывавшийся Жаном, принес нам отличного супа с морковью, бутылку вина и зельтерскую воду; мы принялись обедать с большим усердием.

Это был мой первый обед в Париже, и я никогда не забуду о нем, не только из-за вина, жаркого и салата, но особенно ради того участия, которое оказывал

мне Эммануэль и другие подсевшие к нашему столу молодые люди; они обращались со мною совершенно как с равным, когда Эммануэль передал им, что я учился вместе с ним в одной школе. Нет, никогда я этого не забуду! То были люди образованные, совершенно развязно толковавшие между собою о законе, о правосудии, о медицине, об истории, о правительстве, словом— о чем угодно...

А я ничего не знал, ничего не понимал, но имел здравый смысл—молчать.

Один из них, высокий и сухощавый, по имени Силлери, спорил с другим—Кокильем. Двое или трое из приятелей Эммануэля вмешались в этот спор, хохотали и орали во все горло; каждую минуту являлись новые гости, знакомые первым, компаниями в три, четыре, шесть человек; скоро все залы были набиты народом, и у каждого стола продолжались прежние ученые споры.

В воздухе смешивались всевозможные звуки: тарелки, бутылки звенели, слуги бегали, крича по временам в дверь кухни:

— Порцию жаркого!

— Две порции спаржи!

— Порцию почек-сотэ!

— Порцию бифштекса!

— Бутылку вина... и т. д., и т. д.

В свои руки они подхватывали на бегу три, четыре, пять тарелок сразу, а под мышки тыкали несколько бутылок—и ничто у них не выпадало! Всякий получал, что спрашивал... Признаюсь, ничего подобного я прежде не видел. Эти крикливые лакеи своею необыкновенною памятью и ловкостью удивляли меня несравненно более, чем все споры о правительстве, потому что я лучше мог раскусить и оценить их таланты; тогда-то припомнились мне слова Нивуа, который говаривал мне, что люди работают и приобретают в Париже в один час гораздо больше, чем у нас в продолжение целых суток.

Там же в первый раз я увидел освещение газом: как только настал вечер, по всем столам вдруг заблистали прекрасные белые и небесно-голубые огни в форме тюльпанов; слуги бегали ко всем кенкетам с концом зажженного воска, как сторожа в церквах, и газ загорался в одно мгновение. Не распространяясь много, скажу, что этот обед с его винами и спорами продолжался до поздней ночи. Наконец, нужно же было вставать; все сидевшие за нашим столом студенты пожали друг другу руки, Эммануэль заплатил в конторе три франка, и мы вышли в самом отличном расположении духа.

Я и забыл сказать, что мы съели также цветной капусты с прованским маслом, и что от вина у нас весело шумело в голове.

Когда мы удалились от старого монастыря святого Бенедикта, по улице св. Якова Матюрен, я был поражен необыковенною для меня картиною: по всем улицам, которые вели к набережным, народ толпился еще больше, чем среди белого дня.

Но днем все эти толпы были заняты работой у хозяев или у себя дома, а ночью выползали из своих шестиэтажных домов подышать свежим воздухом. Я узнал это только впоследствии, и вот почему теперь это движение народа привело меня в изумление.

Когда мы увидели старый мост св. Михаила, во всю свою длину горевший бесчисленными огнями, которые отражались в воде под зияющими арками и при свете которых в воздухе обрисовывались мрачные фасады прибрежных зданий, я вскричал:

— Боже милостивый! как это хорошо! Творец небесный—как же дивно хорош Париж!

Мы пошли по тротуару набережных. Длинные ряды карет, вечно ожидающих, чтоб их наняли, группы книжек, разложенных на прилавках маленьких будок для всякого рода справок; громадные постройки на реке, покрытые парусиной, в которых можно выкупаться; барки с углем, похожие на каменоломни, наконец, тысячи тысяч других диковинок, свидетельствующих об уме, смысле,

хитрости людей, их уменьи добывать деньги, — все это ставило меня втупик, и я продолжал восторгаться:

— Так хорошо, так хорошо, что лучше вообразить нельзя!

— Погоди, погоди еще,—возражал мне Эммануэль.

Он повел меня дальше, через Новый Мост и мрачный двор Лувра, на котором возвышалась статуя герцога Орлеанского, по улице Сент-Оноре, через десяток других улиц, и я, не чувствуя усталости, соображал:

„Но ведь это должно же где-нибудь кончиться: все эти новинки где-нибудь да прекратятся!“

Раздумывая таким образом, я продолжал итти рядом с Эммануэлем. Мы прошли через великолепный двор, окруженный колоннадой и запертый спереди решеткой, у которой караулила городская стража,—и вдруг очутились под каким-то зеркальным сводом, шириной в целую улицу, освещенным внутри, будто солнцем, и наполненным множеством магазинов, в которых было разложено золото, серебро, хрусталь, брильянты, шелк — чего только там не было!

То была Орлеанская галлерея.

Кто не видел этой галлереи, тот не имеет никакого понятия о богатствах и чудесах Парижа.

Но когда мы пришли в Палерояльский сад, с его бесчисленными, освещенными газом, арками, под которыми приютились от дождя, ветра и солнца сотни магазинов, одни великолепнее других; когда мы вышли на большую площадь, беспрестанно орошаемую фонтанами, дающими прохладу толпе детей и богачей, которые усаживаются близ зеленеющих лужков, — вот тут-то мне пришлось всплеснуть руками!

Эммануэль говорил, объяснял мне все по частям, но я уже ничего не слушал и боялся окончательно потерять голову среди всего, кружившегося перед моими глазами.

Меня приводили в восхищение эти галлереи, залитые светом, заполненные магазинами, с одним большим цельным и таким прозрачным стеклом, что мне чу-

дилось, что можно дотронуться руками до золотых карманных часов, жемчужных четок, брильянтовых перстней, до тех бронзовых и мраморных часовых изделий, которые изображают цветы, фигуры, лошадей, оленей самой изящной отделки, на которую надо глядеть целые недели, чтобы оценить все ее достоинства.

В конце одной из таких галлерей Эммануэль сказал мне:

— Посмотри-ка: вот Вефур!

Я увидел за стеклом небольшой мраморный бассейн, наполненный черепахами, куда ниспадала каскадом вода, а кругом бассейна красовались груши, яблоки и еще какие-то фрукты, красные, зеленые и желтые, с большими листьями; по объяснению моего спутника, то были ананасы, гранаты, зеленый миндаль и другие редкости, занесенные к нам из далеких стран. Дальше, за другим окном была разложена рыба и разная дичь такой необыкновенной свежести и лакомого вида, что казалось, будто ее вот только-что вытащили из воды или подстрелили в чаще. Эммануэль толковал мне, что из этих маленьких черепах варят суп, и что самый дешевый обед здесь стоит двадцать франков.

Я недоумевал. Свои шестьдесят франков, я мог, значит, проесть здесь в один присест. Ну, хорош был бы я, если бы вздумал зайти сюда пообедать!

На одном из концов галлереи мы увидели театр Палерояля: толпы людей ждали своей очереди, чтобы войти, и какой-то парадно одетый полицейский охранял порядок.

Ну, словом, Палерояль, с его несметными сокровищами, аркадами, садом и фонтанами и вообще всем поселил во мне безграничное удивление.

Уже более двух часов мы все ходили. В конце Орлеанской галлереи под аркою помещались токарные изделия; долго глядел я на них, любовался ими, решительно отчаиваясь произвести что-нибудь подобное. Это представлялось мне недосягаемым, и я согласился, что госпо-

дин Нивуа был прав, говоря, что в Париже работают лучшие мастера в целом свете.

Потом мы поднялись на бульвары, видели церковь св. Магдалины, толпы гуляющих, две триумфальные арки; ночью все это было еще великолепнее, чем днем. Линии газовых огней неотступно тянутся за вами всюду, и никакой язык не в силах передать все прелести парижской ночи.

У входа какой-то очень широкой улицы Эммануэль, останавливаясь, сказал мне:

— Вон там Вандомская колонна!

Вдали на обширной площади я увидел мрачную колонну с Наполеоном вверху. Было уже, однако, по крайней мере одиннадцать часов, а путь нам предстоял порядочный: мы пошли, не мешкая. Эммануэль знал Париж так же хорошо, как и Саверн. Мы прошли еще под многими арками, через многие переулки, видели еще многое множество магазинов; но я уже насмотрелся досыта, и больше ничто уже не могло подстрекнуть моего любопытства.

Около полуночи я с удовольствием очутился у ворот дома, где нанял квартиру. Вверху на железном болте горел тусклый фонарь.

Эммануэль показал мне, как надобно было звонить, и привратник, дернув шнурок, открыл мне дверь.

— Ну, спокойной ночи, Жан-Пьер,—сказал мой приятель, пожимая мне руку,—до первого воскресенья!

— Да,—с жаром отвечал я.

Он отправился по Сорбоннской улице, а я вошел в узкий и темный коридор. Привратник, не говоря ни слова, поглядел из своего окошка; я вскарабкался на лестницу и был совершенно доволен, что в первый же день нашел себе работу.

Отворив дверь своей комнаты, я увидел, что луна светит в мое крошечное окно; потом разделся, вспомнил обо всем, что сегодня видел, затем лег и сейчас же заснул.

XV.

В половине шестого следующего утра я уже спускался по лестнице и слышал внизу крик:

— Эй, привратник!

Мастеровые, жившие в том же доме, также отправлялись на работу; нам отворили, и мы, не глядя друг на друга, гурьбою вышли на улицу.

Париж просыпается поздно, и в пять часов все еще спит, разумеется если исключить рабочих и торгашей, проветривающих и выметающих свои лавчонки, выглядывающих в полураздетом виде и наливающих у своих прилавков рюмку старым пьяницам, самым ранним пташкам столицы. Потом у ворот усаживаются молочницы с огромными жестяными кувшинами, далее выползают хозяйки и кухарки, тогда как рабочие, подметавшие городские улицы, с метлами на плечах, уже возвращаются домой большими артелями.

Все это я видел мимоходом. Улицы были сыры и влажны, но сверху солнце,—то самое благодатное солнце лета, обливающее своим золотом поля, луга и деревья с их фруктами и цветами, теперь блестело на ветхих трубах и огромных гнилых крышах, робко скользя вдоль улиц.

И как часто, видя восход солнца, я переносил его мысленно к себе на родину, на травку, белеющую утренней росой между деревушками, на сады и рощи! Как часто оно, лучезарное, погружало меня в воспоминания о Саверне, об Аннете, о тетушке Бале! „Теперь,—думал я,—они также выходят, озираются и говорят промеж себя: „какое чудесное утро!“

Да, чудесное утро для тех, кто не живет в парижских улицах, глубоких как трубы. Что же прикажешь делать! Нужно мириться с своей долею и быть довольным уже тем, что есть работа.

Было шесть часов, когда я входил во двор столярного мастера; двое или трое мастеровых уже вертелись,

под навесом, готовясь снять куртки и взяться за струги. Поутру, до начала работы, давалось четверть часа свободного времени. Работники посмотрели на меня, не говоря ни слова и, когда я им поклонился, какой-то старичок лет пятидесяти, с длинной русой бородой, белевшей проседью, с открытым лбом, маленькими глазками, смуглым лицом и немножко вздернутым носом, одним словом, настоящий мастер, дядя Перриньон, сказал мне довольно приветливо:

— Ну, а что, эльзасец, вы рано встаете на вашей родине?

— Да, хозяин, мы исполняем свой долг.

— Эку штуку отмочил: свой долг! Скажи-ка, брат, лучше: мы стараемся заработать су пятьдесят, чтоб было на что пообедать,—так дело-то будет яснее.

Присутствующие захохотали, а я покраснел, не зная, что отвечать.

Дядя Перриньон, заведывавший работами, имел способность ко всему придираться, работники слушали его и всегда находили, что он прав; за свои политические убеждения он, как я узнал позже, пересидел в разных тюрьмах и даже, кажется, отведал галер. Вот за все это он пользовался большим уважением в своем околотке.

Наконец, мы принялись за работу.

Ящики, которые, как я видел, сколачивались вчера, назначались для помещения в них разной мебели—столиков, комодов, шкапов, совсем отделанных и расставленных в глубине магазина. Нужно было только сколотить еще несколько ящиков, и этим-то началась моя деятельность столяра.

Полчаса спустя, явился господин Браконо. Мебель нужно было вкладывать в ящики, перекладывая соломою, и потом нагружать на три телеги. Работа эта у нас, в провинции, заняла бы целый день, а здесь к девяти часам все было окончено и телеги были уже на пути.

Мы отправились завтракать. Я познакомился тогда с двумя товарищами, из которых один, по фамилии Вальсен, был высокого роста, бледнолицый, отличный

работник, но почти всегда хворый, а другой, Кантен, красивый собою и носивший фуражку набекрень, был такой страшный болтун, что только один дядя Перриньон мог его унять, говоря:

— Перестань, трещотка!

Наконец, вся наша компания, в куртках, медленно вышла на улицу. Позади всех шел дядя Перриньон, которого теперь, за воротами мастерской, называли уже господином Перриньоном; на старике был широкий, темный сюртук и шляпа, а длинная с проседью борода придавала ему особенно почтенный вид.

В первой булочной, по правую руку, всякий из нас запасся хлебом, а на конце Бумажной улицы мы вошли в нечто смахивающее на харчевню и носившее название Кабуло.

Но об этой харчевне стоит сказать несколько слов, так как подобные заведения разбросаны по всем улицам Парижа и кормят ремесленников всякого разбора—плотников, столяров, ювелиров, каменщиков и так далее до бесконечности. Наше *Кабуло* на Бумажной улице разделялось стеклянной перегородкой с маленькими занавесками на две комнаты. По одну сторону перегородки помещались столы для живописцев, граверов, конторщиков—словом, для ремесленной аристократии, зарабатывающей семь, восемь и даже десять франков в день; с другой стороны, также за столами, могли заседать каменщики, булочники, столяры и прочая подобная братия.

Само собою разумеется, что налево все стоило вдвое дороже, чем направо, потому что столы были застланы скатертями, и притом цены соразмерялись здесь с карманом каждого. Вот почему мы никогда не ходили на сторону живописцев и журналистов. Нам давали похлебку, кусок говядины, миску овощей и полбутылки вина за пятнадцать су, что для других стоило тридцать. Нужно также прибавить, что их комната была выкрашена зеленой краской, а наша не была выкрашена никакою; ну, да это было для нас решительно все равно.

В глубине харчевни, как раз против ее двора и притом на нашей половине, была расположена совершенно темная кухня, освещаемая среди белого дня только одним сальным огарком,—и все заведение было так миниатюрно, что занимало не более двадцати квадратных футов. Вот здесь-то мы, сидя бок-о-бок, набивали наши желудки, тогда как мадам Грэндорж, добрая толстая женщина, родом из Вогезов, с жирными щеками, маленькими живыми глазками, белыми зубами и пухлым подбородком,—бегала взад и вперед, обливала наши булки похлебкой, хохотала то с тем, то с другим из нас и, по временам, приподнимая занавеску, поглядывала в столовую журналистов.

Прислугой у госпожи Грэндорж была женщина, но кроме ее по хозяйству нередко помогал ей один славный малый, некто Арман, по ремеслу резчик, жирный, квадратный человечек, с черной бородой, несколько красным носом, угловатыми манерами, но необыкновенно добрым сердцем.

Мы ели молча, в то время как художники и журналисты спорили и горланили, как галки. До нас доходили все их рассуждения о короле, о министрах, о камерах, о всехвозможных негодяях—как они величали правительство—от последнего караульного до господина Гизо включительно.

Особенно злились они на господина Гизо. Все это осведомляло нас о политических новостях, которые нам были известны прежде, чем появлялись в газетах; и часто, когда какой-нибудь журналист кричал, что казна расхищена, что нация оскорблена, дядя Перриньон подмигивал глазом и тихонько говорил:

— Послушайте, послушайте! Этот рассуждает дельно... понимает вещи... Это самый умный между ними... у него есть толк.

Мы бы, пожалуй, были непрочь оставаться здесь до вечера и слушать их споры, но в три четверти десятого нужно было возвращаться к работе.

Когда мы после пришли обедать в ту же харчевню, то к своему удовольствию застали там некоторых из крикунов, но они так осипли, что госпожа Грэндорж полуотворила их дверь, без чего мы бы, конечно, не услышали больше ни слова.

Мне нередко приходило в голову, что с подобными депутатами государственные дела пошли бы совершенно иначе.

Но надобно еще вернуться к рассказу о завтраке, в конце которого дядя Перриньон, взглянув на меня, сказал:

— Ну, эльзасец, чем угостишь?

— Всем, чем вам угодно,—отвечал я, несколько смешавшись.

Тот улыбнулся и заметил:

— Не обо мне одном речь: ты всем своим новым товарищам должен поставить могарыч.

— Именно об этом я и думал, господин Перриньон,— разумеется, насколько хватит моего кармана, потому что я не богат.

— Э, пустое, была бы добрая воля,—отозвался он и затем, обратясь к прочим, сказал:

— Ну-ка, ребята, что вам по вкусу? Только не крепко разоряйте парнишку; ведь вы видите, он добрый малый.

Один хотел водки, другой—кюрасо, но старый Перриньон заметил:

— Нет, уж лучше нам чокнуться одним. Две бутылки винца, мадам Грэндорж!

Принесли две бутылки, и я разлил вино по стаканам. Все товарищи выпили за мое здоровье, а я—за здоровье всех; потом мы расплатились и вышли.

Господин Перриньон был, повидимому, доволен и уже называл меня не эльзасцем, а парнишкой.

С этих пор все мои товарищи обращались со мной совершенно как с равным, что, конечно, не мешало им далеко превосходить меня в ремесле, потому что они работали два, три, четыре года в Париже, а я только-что явился из полудикого Саверна. Это было мне очень

тяжело, не из зависти—упаси меня от нее, господи!—но потому, что в голове моей нередко бродили такие мысли:

„Ну, разве ты стоишь трех франков в день? И захочет ли еще хозяин тебя держать?“ —И я принужден был отвечать себе отрицательно; напрасно обливался я потом и старался, я постоянно отставал от товарищей. Я приходил в отчаяние, не спал по ночам или, просыпаясь, думал: „Боже милосердный! Ну, если хозяину вздумается—что очень немудрено—тебя прогнать; куда ты тогда денешься?“

После этого понятно, почему я боялся дня раздачи жалованья, в который обыкновенно благодарят ненужных работников. Да, я боялся этого дня, и кошелек мой, тем не менее, заметно пустел и требовал подкреплений.

Наконец, пришла роковая минута. В одну субботу вечером господин Браконо держал совет с дядей Перриньоном, и я смотрел на них, и сердце у меня замирало. Когда дошла очередь до меня, хозяин молча отсчитал мне двадцать семь франков. И несмотря на это, когда я вышел, мне так и казалось, что вот-вот тебя воротят словом: „Эй, послушайте! К сожалению, у нас работы теперь нет, и потому...“ Только перебежавши чрез двор, я вздохнул свободнее и подумал: „Слава богу,—меня не поблагодарил!“

Уже был я порядочно далеко на улице, как вдруг услышал позади себя крик дяди Перриньона:

— Эй, постой, да остановись же... Что так разбежался—точно от кого уходишь!

Веселая наружность старика и на меня нагнала смех.

— Ты, кажется, сегодня в хорошем расположении духа,—сказал он, взяв меня под руку.

— Я всегда таков, господин Перриньон.

— Вот как! Даже когда изо всех сил надрываешься со своим стругом, чтобы поспеть за другими, когда пот бежит с тебя в три ручья, когда ты сжимаешь зубы...

Мне стало стыдно, что мои усилия были подмечены.

— Вот то-то и есть: мы не хотим обращаться к старшим, хотим знать все сами, не перенимая у других; мы,

вишь, чересчур горды, чтобы попросить чьего-нибудь совета, и готовы лучше лезть из кожи с утра до ночи. Что-ж, быть гордым, иметь твердый характер, пожалуй, и хорошо, да толку-то в этом одном мало.

— Помилуйте, господин Перриньон,—оправдывался я,—если бы я только смел обратиться к вам за советом..

— Почему же не сметь? Разве я зверь какой?

Мне показалось, что он был немного рассержен; но, успокоившись, он продолжал:

— Ты угостил меня, помнишь, бутылкой винца, а сегодня я поставлю тебе другую на свой счет. Я думал было ужинать сегодня в своем семействе в улице Клодвига, как обыкновенно, но у меня есть здесь по соседству кой-какие делишки и притом мне хочется поговорить с тобою.

— Если хотите, я сбегаю куда вам нужно.

— Нет, уж предоставь это мне самому. Тебе же я желал бы дать несколько советов, которые очень пригодились бы тебе впоследствии.

Это доказательство участия меня тронуло. Вдали от родины, среди чужих людей, всякое ласковое слово бедняку так отрадно...

Мы вошли в наш Кабуло. Было, пожалуй, около половины восьмого. Стоя на стуле, молодой Арман чистил кенкет; несколько работников из булочной сидели за ужином, после которого должны были замешивать тесто до двух часов ночи.

Спросив бутылку вина, мы уселись близ стеклянной двери, и господин Перриньон, опершись локтем о большой стол, долго говорил мне о нашем ремесле, объясняя, что всякий город, даже всякая деревня производит работу по-своему.

— В Париже,—толковал он,—все идет вперед, изменяется, улучшается. Я совершенно согласен, что в свое время Нивуа был хорошим мастером; но ведь за пятнадцать лет наша работа много усовершенствовалась и упростилась. Каждый божий день не тот, так другой из этой огромной массы рабочих придумывает какую-ни-

будь хитрость, при помощи которой можно производить работу скорее или лучше, а все прочие сейчас же пользуются этим изобретением. Ты, конечно, работаешь постарому, как в Саверне; вот хоть бы меряешь не ватерпасом, а шнурочком: положим, оно все равно, но, вместо одного раза, ты прикидываешь свою мерку два раза и за каждым разом теряешь несколько секунд, из которых к концу дня вырастают целые часы даром потерянного времени, уже не говоря о неприятности, стыде и беспокойстве отстать от других.

— Правда, горькая правда!—сказал я.

Тот засмеялся.

— Да ведь ко всему, дружок, можно привыкнуть. Брось свой шнурок и, если что-нибудь тебя затруднит, обратись ко мне.

— Ах, господин Перриньон, если бы и я мог вам также оказать какую-нибудь услугу!—вскричал я.

—Почем знать,—отвечал он,—все мы под богом ходим,—может и окажешь. Во всяком случае, сделай после для других то, что я теперь делаю для тебя, и мы будем совершенно квиты.

С этими словами добрый старик снял со стены шляпу, и мы вышли. На дворе была ночь и мы, пожав друг другу руки, разошлись; он направился в Бумажную улицу, я—в улицу Ла-Гарп. Нет, уж за одно это внимание я никогда не забуду старика Перриньона.

Такие благородные люди, считающие своих ближних братьями, попадаются не на каждом шагу и имеют, по-моему, один недостаток: они стараются всех сделать такими же порядочными людьми, как сами, и за это-то бездушные негодяи называют их глупцами. Между тем в тот же вечер мне готовилась еще одна большая радость.

Не нужно, кажется, и говорить о том, что в первый же день моей работы я поспешил купить чернила, перьев, бумаги и уведомить тетушку Бале, что письмецо дяди Нивуа мне очень пригодилось, что Эммануэль и теперь, как в Саверне, был для меня добрым товари-

щем, и что я был бы вполне счастлив, если бы когда-нибудь получал добрую о ней весточку.

Дойдя до конца темного коридора и собираясь подняться на лестницу, я был остановлен криком привратника:

— Господин Жан-Пьер Клавель!

— Что нужно, господин Трюбер?

— Вам письмо.

В большом смущении схватил я это письмо, но, проходя мимо засаленного фонаря, узнал почерк тетушки Бале, и сердцу моему сейчас же сделалось так сладко... Быстро взобрался я наверх и, две минутки спустя, сидя на своем соломенном тюфяке перед лампой, уже заливался обильными слезами, читая письмо доброй старушки, в котором она, за извещением о своем здоровье, рассказывала мне, какого труда ей стоило победить свою грусть после моего отъезда, как приятно ей было узнать, что я имел уже работу, и как до сих пор она не теряла надежды когда-нибудь со мной свидеться.

В письме упоминалось также, что Дюбурги возвратились с грудами серебра и разных драгоценностей тетушки Жаклины, и что наследство их даже превосходило все предположения; но все это интересовало меня очень мало, и потому голова моя была занята такими мыслями:

„Одна тетушка Бале должна быть вечно в твоей памяти: она тебя вскормила, постоянно согревала своим участием, она одна тебя любит и имеет право на твою любовь. Какое тебе дело до этих Дюбургов? Ведь чем больше они разбогатеют, тем скорее забудут своих прежних знакомых. Нет, Жан-Пьер, ты должен работать и жить для тех, кто тебе делал добро. Старайся разжиться для того, чтобы переселить к себе свою старую тетушку Бале и по возможности вознаградить ее за все ее благодеяния. Вот в чем твой долг, твое счастье, а остальное... Бог с ним!“

С такими-то утешительными мыслями я заснул глубоким сном.

XVI.

Со времени моего приезда в Париж мне не представлялось случая видеться с Эммануэлем: работа у нас была такая спешная, что целое воскресенье и следующий за ним понедельник, до восьми часов вечера, мы не выходили из мастерской, но в субботу, раздавая нам жалованье, господин Браконо предупредил нас, что завтра мы будем совершенно свободны; ранним утром я был уже одет и бежал в Песчаную улицу.

Мое посещение было как нельзя кстати, потому что Эммануэль, увидя меня, закричал:

— А я именно о тебе думал, Жан-Пьер: у нас теперь вакации и начались экзамены; в конце этой недели я думаю съездить домой месяца на два, и мне было бы очень жаль не проститься с тобой перед отъездом.

Он пожал мне руку. В то время, как он снимал свой великолепный халат, я рассказывал ему, почему не мог быть прежде.

—Ну, так как же,—сказал он,—идем гулять и завернем позавтракать в Палерояль!

Я думал, что он шутит, говоря о нашем завтраке в Палерояле; но Эммануэль, видно, догадался, о чем я думал, и потому вскричал:

— Конечно, не у Вефура, милый мой; сначала дождемся пенсиона от его величества короля Луи-Филиппа, а пока я сведу тебя к Тавернье.

Он засмеялся, и мы вышли, как и в первый раз, на улицу Ла-Гарп. Но ему хотелось прежде всего показать мне дворец юстиции, огороженный спереди великолепной решеткой. За этой решеткой находится двор, а в конце двора лестница ведет в ту переднюю, где адвокаты развешивают свои плащи между колоннами. По правую руку другая лестница поднимается в большую залу, самую обширную во всей Франции.

Вокруг этой залы, очень высокой, очень просторной и вымощенной плитами, как собор, расположены другие, в которых помещаются трибуналы для суда над ворами, мошенниками, банкротами, поджигателями, убийцами и, наконец, над теми любителями политики которые находят, что не все устроено как следует на белом свете, и стараются кое-что поисправить.

Все это объяснял мне Эммануэль, я же размышлял, что мне, без всякого сомнения, никогда не придется вмешиваться в политику.

Потом, по задней лестнице мы вышли на открытую площадь и, наконец, очутились посредине Нового моста. Уже с конца этой довольно мрачной площади мы могли хорошо видеть статую Генриха IV, а далее перед нами открылся великолепный вид Лувра, которым еще в первый раз я вдосталь любовался. Теперь он показался мне еще лучше прежнего, и даже до сих пор я думаю, что на земле нет ничего великолепнее: чудно хороши эти ряды мостов, эти дворцы—луврский и тюльерийский,—эти решетки и сады по левую руку, далее опять дворцы и дворцы, а в самом углублении триумфальная арка! Нет, ничто в мире не может возбудить такого удивления пред трудом и разумом человека! Когда я передал эту мысль Эммануэлю, то узнал от него, что все находившееся перед нашими глазами—сущий вздор в сравнении с внутренним убранством дворцов, в которых собраны все богатства света. Но мне казалось это решительно невозможным.

Продолжая итти, мы вступили во двор Лувра, и мне было как-то отрадно глядеть на эти великолепные статуи, расположенные вокруг башенных часов и представлявшие вид стройных женщин, обнявшихся одна с другой, как сестры; вышиною же эти статуи, красовавшиеся в воздухе, были, как я думаю, никак не менее тридцати футов. Словом, весь этот вид был очень хорош. Только пройдя чрез арку, со стороны тюльерийского дворца, мы очутились посреди старой площади, окруженной дрянными постройками вроде монастыря

св. Бенедикта, которые мне вовсе не понравились. На площади толкались продавцы образов, старой ветоши, ржавого железа и другие подобные торгаши; двое или трое продавали даже попугаев, голубей, обезьян, маленьких куниц,—и весь этот товар кричал, щелкал и распространял довольно неприятный запах. Не понимаю, как могла поместиться эта грязь между двумя такими великолепными дворцами.

Эммануэль сказал мне, что все здешние домохозяева не хотели продать городу своих построек, и что всякий может жить в грязи, если это ему нравится.

Разумеется, я находил, что это справедливо, но в то же время и довольно грустно.

Мы поглядели немного на эту площадь, напоминавшую деревенские ярмарки, после чего Эммануэль сказал мне:

— Пойдем!

С внешней стороны луврского дворца, налево, тянулось продолжение зданий, а во дворе виднелась довольно высокая дверь, в которую входили прилично одетые господа.

— До завтрака,—сказал мне Эммануэль,—нужно показать тебе картинную галлерею: у нас есть еще для этого час времени.

Видеть картинную галлерею мне сильно хотелось самому, потому что я нередко слышал о музее, но ни капли не понимал, что это такое.

В передней начинался свод, который сам был составлен из нескольких других сводов, запертых большими дверями, обтянутыми зеленым сукном. У одной из таких дверей, с левой стороны, сидел швейцар, которого я принял за очень важного господина в государстве, по его великолепной рогатой шляпе, его кургузому мундиру, красным бархатным штанам, белым чулкам и важному виду.

И ведь это был простой швейцар!

Потом уже я видел много совершенно одинаково одетых людей, сидевших или прохаживавшихся взад и вперед, чтобы размять свои ноги: такая у них служба.

Какая-то дама в углу принимала трости и зонтики, получая за это по два су от каждого посетителя; направо была лестница, шириною, по крайней мере, в пять метров, а своды под нею были расписаны разными картинами. Право, поднимаясь по такой лестнице, чувствуешь как-то уважение к самому себе и думаешь: „ведь вот я иду, а меня никто не останавливает!“ Но все это были еще одни пустяки. Вот вверху так уж было на что поглядеть. Как хороша эта огромная зала, освещенная прозрачными, как лед, стеклами, из которых падал свет на бесчисленные картины, такие прекрасные и живые, что, глядя на них, вы думаете, будто глядите на самые предметы, на них написанные: вот деревья, земля, люди—весною, осенью, зимою, во все времена года, смотря по тому, как вздумалось изобразить художнику.

Вот это так действительно великолепие! При одной мысли, что с куском холста и краскою люди дошли до уменья изображать со всеми тончайшими подробностями все времена, страны, всевозможные существа на западе и востоке солнца, на луне, на земле и в океане,—вы наполняетесь удивлением к даровитости нашей породы и думаете: „как счастливы те, которые получают такое блестящее образование и оставляют после своей смерти подобные дивные произведения, которыми все мы можем гордиться!“

Мы проходили по большой зале молча, как по церкви, и слышали звук собственных наших шагов по паркету, сделанному из старого дуба. Эммануэль объяснял мне вполголоса все, на что мы глядели, и называл мне имена живописцев, а я думал: „Какие умные люди! Какие великие мысли гнездились в их головах, и как дивно они умели передавать их своею кистью!“

Помню, что в этой зале я видел императора Наполеона с поднятыми к небу глазами, верхом на лошади, зимою, посреди снега, крови и трупов. От одного взгляда на него меня самого пронял холод. Это одна из картин, оставшихся в моем воспоминании. Но эти страшные

изображения, пугающие людей ужасами войны, забавляли меня не в пример менее, чем виды полей, лугов, быков, маленьких домиков, где у порогов дверей ели и пили мирные семейства. Чувствуешь, что то были честные люди, и это приносит сердцу такую отраду, что так вот и хочется самому поместиться между ними.

Из большой квадратной залы мы вошли в другую, длиною по крайней мере с полмили, оттуда—в третью: всем им, казалось, не было конца. Эммануэль продолжал мне толковать, но столько новых предметов смутно перемешивались в моей голове. Публики набиралось все больше и больше; вдруг Эммануэль сказал мне:

— Послушай, Жан-Пьер, ведь пора завтракать.

Целые четверть часа, если не больше, нужно было итти обратно по залам, и—сказать ли вам правду—мне страх как захотелось выйти на свежий воздух. В один раз виденного было для меня уже слишком много, да притом я таки проголодался и желал посидеть не перед картинами, а перед чем-нибудь более существенным.

Мы были невдалеке от Палерояля, куда и отправились по улице Сент-Оноре. Мимоходом, мы опять поглядели на Орлеанскую галлерею, сад, водяные каскады и арки; но теперь мне больше всего понравилась вывеска Тавернье, которую Эммануэль указал мне под одной из этих арок.

Мы вошли, и, несмотря на то, что и Обер угостил нас порядочным обедом, я сейчас же понял, что здесь пахнуло чем-то почище. Это был настоящий парижский ресторан, хорошо освещенный и расписанный богатой позолотой. Маленькие столы, уставленные в ряд, между высокими окнами, и покрытые белыми скатертями, блестящие графины и стаканы, словом, вся прочая обстановка ясно говорила, что с деньгами в этом городе можно пожить очень нехудо.

Когда мы уселись, к нам явились и слуги. Эммануэль потребовал зельтерской воды, вина, дыни, жаркого, десерт, и если бы я не читал в то же время цен, выставленных на карточке, то, право, подумал бы, что мы

разоряемся в пух и прах. Так как же бы вы думали? Все это для нас обоих стоило не больше трех или четырех франков. Удивительное дело, право!

Позавтракавши, мы отправились в сад, чтобы там, посреди густой толпы, напиться кофе за маленьким жестяным столиком. Эммануэль купил сигар, и мы закурили, как принцы, поглядывая по сторонам на проходивших мимо хорошеньких женщин. Положим, для студента прав оно было очень хорошо, но мне, не шутя, было как-то совестно играть роль важного барина. Вот вам парижское житье. Очень может быть, что в толпе этих дам и господчиков, сидевших вокруг меня и важным голосом отдававших приказания лакеям, были такие, что еще и меня похуже!..

Жара стояла несносная, и белая пыль садилась на все, даже застилала деревья. Часа этак в два, когда стал накрапывать дождик, все посетители попрятались под арками. Нужно было и нам убираться, но Эммануэль начал уверять, что дождик скоро перестанет, и просил меня ехать с ним в омнибусе к Триумфальной арке. Мы отправились с улицы Сент-Оноре, на конце площади Шато-д'о, где находится гауптвахта.

Омнибусы целыми сотнями движутся по Парижу, и за какие-нибудь шесть су можно проехать с одного конца города до другого. Посреди улицы вам стоит только подать знак—и карета остановится. Кондуктор протягивает вам руку, и вы садитесь на скамье, набитой волосом, между разными дамами и господами, а дождь течет по стеклянным окошкам, и лошади везут отлично. Все эти хорошие выдумки показывают, что Франция ни в чем не имеет недостатка.

После десяти минут езды, когда уже стало выглядывать солнышко, Эммануэль поднял руку и закричал: „стой!" Мы сошли на площадь, занимавшую вдвое более места, чем целый город Саверн, и окруженную дворцами, садами и аллеями; это—площадь Согласия. Хотелось бы мне описать вид этой площади с ее двумя

бронзовыми фонтанами, с обелиском—огромной каменной и острой, как иголка, колонной, вывезенной из Египта и покрытой лепными изображениями, но ведь никаким словом не передашь красоты этой бесконечной площади. Довольно сказать без всяких рассуждений, что это—чудо света и что в этом чуде толпятся, гуляют, спешат богатейшие экипажи, дамы и кавалеры, хвастающие друг перед другом красотою лошадей, богатством плюмажей и нарядов.

Вдоль по аллее Елисейских Полей, из-за зелени листьев, ваш глаз подмечает сотни домов, в которых живут миллионеры, а там далее слева, на другом берегу реки, выглядывает отель инвалидов с его куполом, пропадающим за облаками.

Между деревьями вы замечаете также маленькие детские театры; тут есть и деревянные лошади, и акробаты, и зверинцы, словом—бесконечный и разнообразный праздник.

Мы проходили мимо всех этих диковинок и видели со всех сторон мраморные изваяния, из которых меня особенно поразили две работы, у входа в большую аллею, представлявшие юных, прекрасно сложенных мужчин, которые держали за узду двух бешеных и взвившихся на дыбы коней; ноги животных занесены вперед, грива развевается—так вот и кажется, что вырвутся и ускачут.

Эммануэль сказал мне, что это редкость искусства, с чем я, конечно, вполне согласился.

Но всего лучше была Триумфальная арка, воздвигнутая на конце аллеи; от далекого расстояния она показалась мне совсем серою, но всетаки великолепною, с ее бледными очертаниями в воздухе и ее сводами, в которые можно просунуть целые здания.

Все хорошо, все удивительно в этой Триумфальной арке; все наши победы записаны на ней страницами, длиною в пятьдесят метров; здесь соединяются все красоты: красота мысли, камня, работы, красота величия и красота скульптурных изображений.

Я бы мог порассказать еще больше об этих предметах, но ведь они останутся целые столетия на своих местах, и я думаю, как господин Нивуа, что нужно самому видеть Париж, чтобы судить о величии, славе и силе нашего народа.

На обратном пути, часов в пять, мы опять проходили через Тюльерийский сад, наполненный самыми великолепными мраморными статуями. Кого они представляли, право, не знаю, но все это было прекрасно сделано, в малейших подробностях, окружено деревьями и красиво расположенными аллеями. В этих аллеях играют дети, прогуливаются дамы, и, несмотря на толпы людей, кругом летают сизые голубки; они садятся даже на дерн и едят крошки хлеба, которыми их угощают гуляющие.

Эти голуби живо напоминают родину, густые леса и поля; невольно начинаешь думать: „Ах, если бы мы, подобно вам, могли жить несколькими зернышками, да имели бы ваши крылья, то, несмотря на дворцы и монументы, мы были бы, конечно, не здесь“.

Я никак не мог удержаться, чтоб не передать этих мыслей Эммануэлю, припоминая ему, как бывало, в долине Плоской Скалы, выходя из реки, когда по лугам протягивались длинные тени лесов, мы слышали из-под кустарников воркованье голубей. Они жили попарно, но тогда мы не знали, о чем они могли между собою беседовать; теперь я это знал и завидовал счастливой свободе, с какою они ворковали попарно в тени деревьев.

Эммануэль слушал меня, понуря голову. Мне хотелось заговорить с ним немножко об Аннете, но я не смел, а на сердце у меня было так полно... так тяжело!

Когда мы вышли из сада, он повел меня чрез большую площадь, на которой возвышалось высокое башенное здание, залепленное афишами: я издали узнал Лувр.

Но тогда все мне казалось грустным, и имя Аннеты так и просилось с языка; я глядел на моего спутника, который, казалось, о чем-то мечтал. В таком настроении мы пошли по грязным переулкам; мимо нас проходили продавцы воды; торговцы платьем, кривя рот, кри-

чали под окнами; перед нами опять развертывался уличный Париж.

Но вот Эммануэль поднимает вверх глаза и кричит:

— Вот Ростбиф! Ну-ка, Жан-Пьер, идем обедать!

Мы вошли; публики было очень много, и мы могли поместиться только в самой глубине, под какою-то стеклянной крышей.

И теперь мы хорошо пообедали, но, право, не знаю, откуда напала на нас тоска. Эммануэль думал, может быть, о своем экзамене, а мои мысли были в Саверне. Когда я хотел расплатиться, мой собеседник стал очень недоволен.

— Я не люблю, чтобы мой лучший товарищ, которого я приглашаю, рассчитывался,—сказал он мне,—ты меня просто обижаешь.

Я отвечал ему, что у меня и в голове не было его обижать, но что я имел работу, и, следовательно, было бы совершенно справедливо предоставить всякому платить в свою очередь.

Он не соглашался, и мне показалось, что он был рассержен не на шутку. Но когда мы, спустя несколько минут, вышли, он вскричал, пожимая мне руку:

— У меня, Жан-Пьер, нет лучшего друга, чем ты. Не хочешь ли побывать в театре Палерояля?

Сильно устав, я отвечал ему, что лучше отложить до другого раза; тогда мы пошли медленно по улице Сент-Оноре. Помнится мне еще, что в тот же вечер, когда мы проходили через мост О-Шанж, Эммануэль показал мне площадь Шатле с ее низенькой колонной и фонтаном, а далее танцовальное заведение Прадо. Но с этой площадью и мостом для меня связаны совсем иные воспоминания, о которых мне нужно будет говорить после. Теперь же скажу только, что, дойдя до моей двери, мы обнялись как братья. Я не мог сказать наверное, буду ли иметь время проводить его в контору дилижансов, и потому тут же пожелал ему счастливого пути.

XVIII.

До окончания каникул я уже не думал видеться с Эммануэлем,—но вдруг в конце этой недели, часа в два пополудни, он вошел в нашу мастерскую, говоря:

— Я пришел проститься с тобою, Жан-Пьер; я выдержал экзамен и уезжаю.

На нем была белая летняя визитка и соломенная шляпа, а глаза его так и светились. В то время, как мы обнимались, на него глядели все мои товарищи. Потом я провел его в самый двор.

— У тебя нет поручений в Саверн?—спросил он.

— Обними за меня тетушку Бале,—ободрившись, отвечал я ему,—скажи, что работа у меня есть, и что я не перестаю думать о своей благодетельнице. Обними также дядюшку Антуана, мадам Мадлен и Аннету. Если случится быть тебе возле фонтана, не забудь также и дядюшку Нивуа. Скажи, что я много благодарен ему за его советы и рекомендацию: господин Браконо не забыл своего приятеля.

Мы пожали друг другу руки.

— До скорого свидания!.. Через два месяца!..—кричал мне, уходя, Эммануэль.

Потом он уселся в экипаж, ожидавший его у ворот, и галопом помчался по улице.

— Кто это, товарищ твой? — спросил дядюшка Перриньон, когда я опять вошел в мастерскую.

— Да, господин Перриньон, это—сын нашего мирового судьи и мой школьный товарищ: он готовится в адвокаты.

— Славный малый,—отозвался старик,—честная наружность!

И больше об этом ни слова; но в три часа, когда мы шли обедать, он опять заговорил об Эммануэле, прибавляя, что народ и ученые буржуа—одно и то же, что у них интересы одинаковы, но что, к несчастью, в Париж является много тех лентяев, которые, под пред-

логом образования, тратят деньги своих родителей на распутных женщин. Он называл таких господ негодями, в чем с ним совершено соглашались Кантен и другие.

Говоря об Эммануэле и подобных ему молодых людях, господин Перриньон объявил, что место их было во главе народа, что их отцы произвели революцию 89 года, что они также пойдут по их следам, не заразятся дурными примерами, наконец, что народ очень на них рассчитывал.

Нечего и толковать, как отрадно мне было слышать похвалы моему товарищу от такого достойного мастера и человека, каким был господин Перриньон. Помню также, что в то время споры журналистов, граверов и живописцев удвоились в нашей харчевне. Я слышал толки о том, что лекции Мишле и Кине прекращены и не возобновятся после каникул, что плотники скопляются на Гревской площади все больше и больше, что сходки продолжаются, что Одилон Барро и Ламартин защитят права народа; часто говорилось о мире, во что бы то ни стало, об испанских браках и других предметах, о которых я не имел ни малейшего понятия.

Когда споры становились жарче, наш *Кабуло* можно было бы сравнить с барабаном: стекла дрожали, ноги везде стучали, точно господа хотели взять друг друга за шиворот; и когда кто-нибудь из нас готовился кашлянуть или чихнуть, господин Перриньон подымал руку и говорил:

— Тс! слушайте: теперь говорит Кубе́, послушаем Монгальяра.

По временам тот или другой из журналистов или живописцев проходил, совсем бледный, через нашу половину, но потом, вовсе не замечая нас, опять возвращался к полю сражения.

Кубе́ был малого роста и сухощав; у него были очень живые глаза, крючковатый нос, седая борода; говорил этот человек превосходно.

Монгальяр был высокий, костлявый, рыжеволосый мужчина, с широкими плечами, согнутой спиной и

короткой бородкой, которая начиналась впрочем у самых глаз; широкий и плоский лоб, длинный нос и подбородок, наконец, грубый голос делали его похожим на дикого кабана.

Другие также горланили, пищали; некоторые смеялись, и все были одеты, как люди, занятые только своими мыслями: шляпа на них торчала косо, галстух был расстегнут, один воротничек выползал наружу, другой прятался под рубашку.

На нас они и не думали обращать внимание, и только мимоходом, будто нечаянно, замечали господина Перриньона и пожимали ему руку с словами:

— Здравствуйте, Перриньон, как живете?

Потом, войдя на свою половину, они опять принимались кричать, ничего не слушая и, кажется, ничего не понимая в этом шуме. У Монгальяра и Кубé голос был так силен, что все их речи отчетливо раздавались, несмотря на общий крик, хохот и дребезжание стекол.

В первое время, когда они толковали о Гревской площади, реформе, сходках, о мире во что бы то ни стало, о Причарде—обо всем вперемежку,—я не понимал ни одного слова. Но раз как-то, в субботу вечером, часа в четыре, пользуясь досужим временем, Вальси, Кантен, господин Перриньон и я сидели в харчевне, когда другие наши товарищи уже ушли; при этом случае я пожелал узнать, о чем толкуют журналисты, и признался, что в Саверне о таких вещах нет и помину, что там никто не смыслил такой мудрости, да если бы кто-нибудь и вздумал ею заниматься, то непременно был бы принят за сумасшедшего.

— Да вы разве не читали газет?—спросил меня дядюшка Перриньон.

— Никогда.

— Ну, что-ж вы делали по вечерам, окончивши работу?

— Я отправлялся погулять в окрестностях города, а другие преспокойно усаживались в пивных, разумеется, пили и курили до десяти часов; часто также они играли в карты и надували, как только могли, один другого.

— Экие провинциальные гуси!—отозвался дядюшка Перриньон.—Ну, брат, если бы ты рассказал мне это в первый день, я бы вытолкал тебя в шею из мастерской. Теперь, правда, я тебя знаю и считаю славным парнем. Только, братец, надо читать газеты. Мадам Грэндорж будет давать тебе „*Реформу*",—так, что ли, матушка?

— Да пусть себе берет... мне-то она зачем?

Это был старый замасленный листок, который журналисты, выходя, бросали на наш стол. С тех пор каждый вечер я занимался чтением, потому что мне было донельзя совестно сидеть олухом между товарищами, которые интересовались политическими новостями гораздо более, чем самые богатые между гражданами моей родины.

В этот же вечер дядюшка Перриньон объяснял мне, что Гревская площадь находилась перед ратушей и получила свое название вероятно от покрывавшего ее прежде гравия; что на ней собирались работники, без мест которые оттуда и поступали к хозяевам; что нередко, когда между хозяевами и работниками происходили неудовольствия, работники целыми толпами уходили на Гревскую площадь, и оттого вошло в обыкновение говорить: плотники или каменьщики поселились на Гревской площади. Это значит, что они хотели или увеличения заработной платы, или уменьшения рабочих часов.

— Каменотесы, каменьщики, кровельщики,—продолжал он,—поселяются всегда на Гревской площади у ратуши, но маляры выбирают местом поселения площадь Шатле; трубочисты ходят к заставе; слесаря—на Сен-Мартенский рынок; рабочие мостовых—на угол Монмартрского бульвара,—ну, словом, все цехи имеют свои центры для сборища.

Потом он стал толковать мне, что реформа, о которой все говорили и которой добивалась, наравне с нами, лучшая буржуазия, требовала изменения в порядке выбора депутатов. До сих пор, по словам моего наставника, нужно было заплатить двести франков контрибу-

ции, чтобы приобресть право назначить депутата, и что такие деньги могли внести только богачи, тогда как честные и образованные бедняки не могли ни дать голоса в пользу депутата, ни сами быть выбранными в депутаты. Это Перриньон называл крайне несправедливым и беззаконным делом.

— Ведь богатые люди, — говорил он, — гоняются только за богатствами и вовсе не думают о судьбе бедных. Очень часто их богатство только свидетельствует об их корысти: всякому известно, что высокие чувства, благородство сердца, любовь к отечеству, уважение к справедливости больше своих выгод—не могут туго набить карманов.

Таким образом и выходит, что бездушные люди получили право одни писать законы честному и гордому народу.

Отсюда, по его словам, произошло унижение Франции, потому что эти любители золота, выбранные подобными себе господами, стали раздавать все лучшие места своим родичам; им не важно было знать, способны-ли их сыновья, племянники и кузены исправлять видные должности; оттого глупцы и негодяи завладели всем и не оставили ничего честным и умным людям, а ведь это отобьет у всякого охоту учиться и служить отечеству.

— Эти эгоисты, — продолжал старик, — жертвовали нашею народною честью и старались поддержать мир, чтобы только сохранить свои имущества; их начальнику, господину Гизо, стоит только намекнуть им, что в войне их богатства могут быть расхищены,—и они сейчас же начинают требовать мира, во что бы то ни стало; ведь, несмотря на негодование целой Франции, они определили выплатить несколько сотен тысяч франков одному английскому аптекарю Причарду; англичане, видя, что все им удается, постоянно пугали нас своими угрозами; наконец, все честные граждане не могли снести такого позора и стали требовать реформы, называемой содействием способностей, но король Луи-Филипп слушался господина Гизо, а господин Гизо не хотел реформы, по-

тому что тогда он не мог бы так хорошо запугивать депутатов, между которыми поместились бы несколько бедных граждан, готовых защищать честь родины, а не жертвовать ею, как прежде, ради приманок золота.

Вот что дядюшка Перриньон толковал всем нам, потому что товарищи мои также его слушали и лучше меня могли оценить всю необходимость реформы. Старик прибавлял нам, что профессора Мишле и Кине, вместе со всеми без исключения честными людьми, признавали справедливость этого изменения и желали, чтобы войско его поддержало, но что господин Гизо один упорствовал против всего общества, желая остаться министром на вечное время.

При одном имени министра Гизо дядюшка Перриньон весь бледнел от негодования, которое невольно передавалось и мне.

С этих пор мои политические познания сделались яснее; когда заговаривали о Гревской площади, о реформе, о мире во что бы то ни стало, я уже понимал, о чем люди толкуют, вместе с журналистами негодовал против взяточничества и считал г. Гизо человеком совершенно бесчестным, с которым могут ужиться одни англичане.

Так вот как проходило время: я работал, слушал споры, по вечерам читал газеты и кое-когда пользовался свободным от работы понедельником.

Прибавьте ко всему этому воспоминания о родине: „Вот уж наступает осень... и листья уже начинают падать... Теперь-то начнутся прогулкм в О-Барре... в маленькую корчму Фаллера, потом вниз по горе... Там счастливы,—а я... я здесь один-одинешенек!“

Я припоминал себе узкий проулок Двух Ключей.

— Что-то там поделывается с тех пор, как выехали Дюбурги? Кто-то живет теперь в старом доме: плотник, слесарь или токарь? Молчит уж ремесло дядюшки Антуана; семья Ривелей живет, без сомнения, еще во втором этаже—они все еще ходят вниз и вверх по старой ле-

стнице. Нет, не разбогатели они... не покинули своего старого гнезда!..

И, раздумывая об этом по целым часам, я представлял себе Аннету уже взрослой девицею.

„Не узнала бы она тебя,—думал я,—не назвала бы, как прежде, своим Жан-Пьером“.

Эта мысль удручала меня.

Я чувствовал, что любил ее все сильнее и сильнее... Я бледнел при одной мысли о господине Бреслау, которого они выбрали своим советником.

Но что прикажете делать! Часто размышления мои принимали совершенно иной оборот. Ежедневная работа, доверие ко мне дядюшки Перриньона, это счастье говорить самому себе, „я зарабатываю кусок хлеба“ эти поучительные споры о правах народа, о чести Франции, о реформе, о революции— все это прогоняло мое грустное настроение и, открывая передо мною совершенно новый мир, поселяло в моей голове великие мысли.

„Мы живем не для одних себя,—часто раздумывал я,—но также и для отечества. У кого нет семьи, богатства, возлюбленной... что-ж?—у того все таки есть отечество; у того есть что-то более великое, более прекрасное и вечное—Франция! Пусть же ей одной принадлежит вся наша жизнь, пусть в ней будут заключены вся любовь, богатства и родная семья бедного человека!“

Вечером такие мысли посещали меня в моей комнате, и нередко я сам себе произносил подобные речи, потом, хватаясь за газету, я все более ненавидел эгоистов, воображающих, что отечество обязано осыпать их почестями. Эти люди казались мне с тех пор скупыми ростовщиками, которые любят ближнего за червонцы и которым более высокое чувство любви никогда не было знакомо!

В это время дядюшка Перриньон любил беседовать со мною; он давал мне наставления по ремеслу и, находя мои мнения справедливыми, любил следить за всеми моими поступками. Часто, после работы, я провожал его за Пантеон, в улицу Клодвига, где он жил,

и там толковал с ним о газетах, политических вопросах и обо всем, что нас занимало. Я оставался зачастую с четверть часа у его дверей, прежде чем уходил домой. Раз вечером мне вздумалось проводить его, как обыкновенно, в его улицу; видя, что весь запас моего чтения ограничивался катехизисом и священной историей, и что поэтому моя голова никак не могла переварить многих вещей, старик сказал мне:

— Все это хорошо, парнишка, но надо дать прочесть тебе историю революции. Вот тогда-то ты и поймешь, откуда происходят наши права, чем мы были в 89-м году и что для нас сделали наши предки. Только, брат, не изорви ты мне этой книги.

— Будьте спокойны, г. Перриньон,—отвечал я ему,—у меня вошло в обыкновение бережно обращаться с чужими вещами, которые мне одолжают.

Вместе взошли мы наверх. Он занимал в пятом этаже две довольно просторные комнаты, выходившие на улицу, а сзади кухню и кабинет. Войдя к нему, я увидел его жену и троих детей—одну девочку десяти или двенадцати лет, мальчика восьми или девяти и другого малютку, еще в люльке. Комнаты были чисты и светлы; жена Перриньона—стройная, высокая брюнетка, лет тридцати пяти или сорока, отличалась прямым носом, высоким лбом и продолговатым подбородком, словом, она представляла черты женщины-хозяйки, полной мужества и решительности. Уже по одной улыбке, которою она встретила своего мужа, я понял, что она любила его горячо и считала чуть не первым человеком во Франции. Когда мы вошли, она была занята мытьем белья, засучив по локти рукава своей рубашки; у окна что-то шила маленькая девочка, довольно похожая на свою мать, а на другом конце стола важно упражнялся в письме мальчик, одетый в камзол и до того напоминавший отца чертами лица, что, встретивши его на улице, я мог бы догадаться, что это сын Перриньона.

Не говоря ни слова, старик снял шляпу, повесил в углу свой черный сюртук и надел блузу.

— Садитесь, пожалуйста,—сказала его жена, подавая мне стул.

— Это мой помощник, Марианна,—рекомендовал меня муж,—славный мальчик, которого я люблю... знаешь, в роде Рожера... вылитый его характер.

— Да, есть сходство,—произнесла жена, взглянув на меня с любопытством.

Потом он поцеловал подошедшую к нему дочь, а за ней маленького мальчика, которого тетрадь показывал мне.

— Посмотри-ка, Жан-Пьер,—сказал он с покрасневшими щеками,—что ты об этом скажешь?

— Да, он хорошо уже пишет, г. Перриньон.

— Что хорошо, то хорошо,—отозвался отец,—твердо и отчетливо. Молодец, Жюльен!

Я поцеловал мальчика, который, казалось, очень гордился своими успехами, тогда как Перриньон, вынув из люльки своего последнего малютку, поднял его, целовал, открывал ему рот и хохотал, как самый блаженный человек.

Мать, принимаясь за мытье, хохотала от всего сердца; ребенок, весь радостный, протягивал свои ручонки вперед и напоследок также засмеялся, а за ним развеселилось и все семейство.

— Ну и прекрасно, что здесь все здоровы и веселы,— сказал отец, усаживая на руках своих ребенка.—Принеси-ка мне, Марианна, ключ от шкапа с книгами, надобно вот этому юноше дать прочесть *Историю революции.* Он охотник до чтения, а в наше время это очень похвально: всякий должен понимать свои права и обязанности.

Жена подала ключ. Старик открыл шкап, с верху до низу набитый книгами, и, передавая мне одну из них, сказал.

— Вот почитай-ка это... Я даю тебе книгу французского народа. Ты познакомишься с началом революции, говорю с началом, потому что она еще не окончилась и будет продолжаться до тех пор, пока мы не

завоюем себе свободы, равенства и братства. Многих глав недостает этой книге, но если мы не успеем написать их сами, то ведь после нас будут действовать вот эти молодчики.—Он указал на сына, сидевшего у стола, и пригладил ему волосы.

— Так, что-ли, Жюльен?

— Да,—отвечал мальчик.

— Ну, и отлично!

Старик захохотал совершенно искренно и, взглянув на меня, продолжал:

— Правды не задушишь никакими усилиями. Еще если бы ее гонители сами создавали нам детей, то, пожалуй, могли бы достигнуть своей цели. Но ведь то-то и есть, что мы родим себе детей и воспитываем их в наших понятиях. Глянь-ка сюда: ведь все это помощники революции, доброе семя... Оно растет, чтобы со временем потребовать своих прав и исполнять свои обязанности. И такого семени многое множество! Все идет вперед, мужает: кого растаптывают, много о том не стоит и говорить. Чтобы распоряжаться с нами беззаконно, нас поделали бессмысленными скотами и перессорили друг с другом. Но те времена уж не вернутся: свет проникает со всех сторон, и, что ни делай, а будущее принадлежит народу. Щипцами можно потушить сальную свечку, но не солнце.

Вот как говорил старик. Жена и дети слушали его с почтительным вниманием, а я сказал, что мне хотелось начать чтение книги как можно скорее.

— Не спеши, пожалуйста,—сказал он,—возвратить ее мне, потому что я знаю ее наизусть; только прошу ее не терять.

Когда он вывел меня на лестницу, я поклонился его жене, и мы сошли вниз несколько ступеней вместе. Потом, пожав мне руку, он возвратился в комнату, а я продолжал спускаться, раздумывая при этом, что Перриньон—счастливейший человек в мире, и что я сам, пожалуй, мог бы наслаждаться такою же отрадною жизнью, не помешай мне наследство Дюбургов.

Далеко за полночь я читал книгу господина Перриньона. Признаться, о нашей революции я не имел до сих пор ни малейшего понятия и слышал только, как в Саверне проклинали Робеспьера и говорили, что он гильотинировал людей так же легко, как иной прихлопывал мух.

Но никто не рассказывал мне о великих делах, о всех прекрасных законах, о всех победах того времени. Я даже не подозревал, что мой дедушка и все мои предки принадлежали важным господам, которые обращались с ними, как со скотами, и не только с ними, а со всей Францией.

Грубое незнание!

Мне было также неизвестно, что революция мужественно вытолкала вон многих господчиков, которые не стыдились нападать на отечество в союзе с австрийцами, англичанами и русскими. Подумаешь, если бы наши отцы не выказали больше, чем они, храбрости и ума, да не боролись бы с ними успешно в продолжение двадцати лет, то мы до сих пор оставались бы животными этих мучителей!

И я не знал обо всем этом ни одного слова! Невольно приходили мне в голову такие мысли:

„Зачем не учили нас отечественной истории? К чему мне знать про царя Давида или пророка Иону, когда я не смыслю истории моей родины!“

Мысль, что меня умышленно держали в таком невежестве, сильно раздражала меня. Дело ясное, соображал я, что нас хотят обратить в последних скотов: нас убеждают, что мы все несем на себе грех Адама, покушевшего запрещенных яблок, но не толкуют ни слова о наших правах, не внушают нам глубокого уважения к нашим предкам, создавшим то величие, которым мы теперь пользуемся: это ясно, но как это неблагородно!

XIX.

В том же сентябре месяце, спустя пять недель после отъезда Эммануэля, на меня напала тоска по родине. Я стал заметно чахнуть. День и ночь мне представлялись город Саверн, гора, еловые рощи, река, ночные тени. Я вдыхал в себя запах лесов, слышал, как высокие дрозды перекликались радушно, как работал когда-то дядюшка Антуан, как стучала башмаками тетушка Бале, как хохотала Аннета. И все это представлялось мне таким милым и отрадным.

„Боже мой!—грустил я,—хоть бы мне немножко подышать там... Хоть бы раз обнять тетушку Бале и хлебнуть один глоток из родника... Воображаю, как в нем свежа вода... Но нет! Не вернется золотое времячко, не буду уж я стругать вместе с пикардийцем, весело распевая, не увижу дядюшки Нивуа, не услышу, как кричат с ведрами хлопотливые девушки, не полюбуюсь резвыми коровами и их смешными прыжками. Все миновало! Видно, здесь суждено мне сложить свои кости".

Это ужасная болезнь. Я весь изнывал, и напрасно в ушах моих раздавался ободряющий голос дядюшки Перриньона: „Полно, перестань тужить, Жан-Пьер. Экой вздор! Ведь мы в Париже, столице всего умного... Какое нам дело до разных вздоров?... Я, брат, сам когда-то испытывал твое горе. Оно тяжеленько, это правда, но побольше мужества—и все пройдет!"

Напрасно протягивал он мне руку; шум реки между старыми вербами манил туда... сердце рвалось на родину! Проводив моего утешителя в его улицу и оставшись один, я не возвратился в Латинский квартал, а пошел по направлению к холмистой улице Контр-Эскарпа. Это совершенно заброшенная и пустынная улица: там и сям торчат старые вывески, сквозь камни мостовой пробивается травка, а позади виднеется серый массивный купол Пантеона.

Мимоходом я взглядывал на изнуренных людей, сидевших у своих порогов в негодных башмаках, на желтых женщин, костлявых детей, на всех этих грязных и оборванных бедняков. Маленькие оконные стекла местами заклеены бумагой, а за ними портреты времен республики и Людовика XVI. Один бог ведает, как попали сюда эти портреты; на них вы бы могли видеть и рогатые шляпы, и парики, и зеленые кафтаны, и цветные жилеты, доходящие до колен, и галстухи, торчащие до носа. Все это было так старо, так почтенно-старо и оставалось в своем первоначальном виде.

Я глядел на все это, как, может быть, Иосиф Аримафейский глядел внутрь опустевшего гроба.

Ни один экипаж не въезжал в старую холмистую улицу; в конце ее с правой стороны находилось управление мэра, с левой—совершенно новый и белый фонтан Кювье; на этом фонтане я увидел отлитого льва и опирающуюся на него нагую женщину, вверху над ними—орла, уносящего в своих когтях барана, а внизу были собраны все животные, созданные природой. Между управлением мэра и фонтаном тянулась старая стена, прикрытая плющем... Какой великолепный плющ! Как он был зелен, как причудливо извивался! Я был у ботанического сада.

В левой стороне стены была проделана решетчатая дверь, у которой стоял часовой. Отсюда, начинаясь фонтаном с спокойной водою, сделанным в виде большой церковной чаши, пролегает извилистая и хорошо устланная песком аллея; на ее пути красуются редкие растения и розовые тюльпаны, а там, далее, в вышине, под плотным, развесистым ливанским кедром была устроена беседка, между старыми скалами, в которых различались гнилое дерево, раковины, растения и другие диковинки, дошедшие к нам, если верить инвалиду, от времен потопа.

Долго я был в нерешимости, войти ли мне в этот сад, думая, что он принадлежал какому-нибудь богачу или принцу; но, видя, что в него поминутно проходили

женщины с корзинками, мастеровые, дети, солдаты, я последовал их примеру и понял, что вход сюда никому не запрещается.

Это была одна из лучших минут, проведенных мною в Париже. По крайней мере здесь не все было вытесано из камня, растения дышали свежею жизнью. Жизнь дело не шуточное! В восторге и счастьи я поместился внутри, на скамейке, на все глядел, глубоко дышал и, право, чуть не заливался слезами. Уже три месяца я не видел другой свежести, кроме подстриженной зелени Тюльерийского сада. Теперь только я понял, чего мне недоставало, и, конечно, дал себе слово наведываться сюда чаще. Как было бы мне весело, если бы хотя одна капля росы сошла на землю! Но в Париже нет росы: летом видишь здесь одну сухую пыль, зимою— грязь.

В саду было много замечательного: клетка с змеями помещалась за рамами матовых стекол; старый слон был спрятан за высоким палисадником; жираф, с небольшой головой и предлинной шеей, обрывал древесные листья с высоты двадцати футов; вон там краснеют круглые кирпичные здания; здесь летают китайские птицы, похожие на наших кур, гусей и уток; орлы кричат из-за своих решеток, поглядывая на голубей в воздухе и пытаясь улететь сами; коршуны, лишившись перьев, вешают вниз головы на конце длинной и голой, как палец, шеи; здесь скачут и кувыркаются обезьяны; медведи в своих берлогах ворочаются по горячему каменному полу и искоса поглядывают на прохожих, бросающих им куски хлеба; там зевают львы и тигры; гиены, похожие на свиней, с головами, как у летучих мышей, издают довольно неприятный запах; вон в том чистеньком здании, под особыми билетами, сохраняются остовы китов и допотопных животных, похожие на источенные червями бревна. Но, говоря откровенно, мне больше всего этого нравилась зелень и, право, дикий крик горного сокола, перелетающего со скалы на другую, храпение вола у сохи или лай пастушьей собаки у стада

были бы для меня во сто раз отраднее всех этих орлов, гиен да львов, доживающих в своих клетках. По средней аллее, обсаженной липами и буковыми деревьями, я проходил мимо превосходных оранжерей, где американские растения прижимают к стеклянным стенам свои высохшие листья, и вышел на набережные; здесь предо мной развернулись иные виды. Эти громадные и бесконечные оптовые склады, в которых бочки с вином и крепкими напитками навалены до самых крыш, эти суда, выгружающие с Сены на берег самые разнородные товары, позади башен церкви Богоматери у ратуши—все это шумное движение опять призвало меня к жизни и напомнило великие времена революции, когда люди, вместо того, чтобы чахнуть, как азиатские и африканские звери в клетках, захотели быть свободными и производить великие дела. Я увидел ратушу, обширное, мрачное здание, с аспидной крышей, двумя боковыми павильонами, высокой, сводчатой дверью, из которой внутрь ведет большая лестница, с огромными окнами и нишами, где расставлены статуи всех добрых, правдивых судей древнего времени.

При взгляде на это здание, мне живо представился страшный конвент—эти люди революции, в париках и долгополых платьях, рассылавшие повсюду свои декреты и предсказывавшие, что вот столько-то побед будет одержано в Голландии, столько-то в Пруссии, столько-то в Испании. И эти люди не ошибались! С двадцатью департаментами они умели твердо стоять против всей остальной Франции и Европы, назначали солдат генералами, генералов—солдатами для пользы и славы отечества.

Да, с удивлением глядел я на это здание, в котором произошло столько великого; теперь я лучше понимал историю, данную мне стариком Перриньоном, лучше оценивал дело революционеров. „То были люди непохожие на нас!,—думал я;—пройдут года, нас не станет; никто даже не будет знать, что мы когда-то жили, а о них будут говорить вечно, и никогда не умрут они в памяти людей“!

Раз вечером я стоял на этом же месте и по обыкновению раздумывал на досуге; вдруг какой-то рыжеволосый солдат ударил меня по плечу. Я посмотрел на него с удивлением и узнал молодого Матерна, которого звали Франсуа. Особенными друзьями мы никогда не были и часто давали друг другу порядочные потасовки, но, увидя его, я в восторге сказал ему:

— Ты-ли это Франсуа? Мне очень, очень приятно тебя видеть.

Я пожал ему руку и даже хотел обнять его.

— Что ты поделываешь здесь в Париже?—спросил он.

— Я столярный работник.

— Ага! Ну, а я—венсенский солдат! Что-ж! угостишь приятеля?

— Если тебе угодно, пожалуй, Франсуа.

Тот быстро подхватил меня под руку и вскричал:

— Ведь мы, брат, были товарищами... Идем же! я знаю здесь теплое местечко... Ну-ка, взгляни—вот тут.

Мы прошли не более четырех шагов; я думаю впрочем, что для него всякое место было хорошо, так как удовольствие рассчитываться он уступал другому. Ну, да бог с ним! Отстегнув свою саблю, он положил ее на решетчатую скамейку у входа трактира, мы же сами поместились возле, за маленьким столиком.

Посетители входили и выходили. Я потребовал бутылку пива, но Франсуа была больше по душе водка.

— Давайте-ка сюда графинчик!—скомандовал он женщине.—Так вот как, Жан-Пьер, ты работник; где же это?

— В улице Ла-Гарп, но сам я живу в улице Матюрен-Сен-Жак.

— Знай наших... За твое здоровье!

Я спросил, не получал ли он известий с родины; но он начал насмехаться над родиной, говоря:

— Это такая, брат, трущоба... Стоит ли о ней и говорить.

— А твой отец и мать?

— Кажется, еще живы: вот уж два года, как я не получаю от них писем.

— А ты сам пишешь им?

— Конечно. Два или три раза я попросил у них денег—они как в рот воды набрали. Что-ж, мне наплевать! За твое здоровье, Жан-Пьер!

Этими словами он оканчивал все свои рассуждения.

Еще помнится мне, что, когда я заговорил ему о реформе, он так отвечал:

— Эге-ге, это по части политики, а тому, кто ею занимается,—не сдобровать! Знай, брат, что у всех оружейников разобраны ружья, то замок отвинчен, то дуло снято. Теперь, если те, которых забавляет политика, станут расхватывать ружья, то немного из них постреляют. Сержант, братец, сказал мне это. От него же я узнал, что в городе с лицами, занимающимися политикой, знакомятся люди, хорошо одетые и вооруженные толстыми дубинами, налитыми свинцом. Они узнают друг друга по знакам, притворяются, будто больше всех занимаются политикой, но, собравшись вдвоем и втроем, убивают неопытных товарищей, которые непритворно забавляются политикой. А там являются солдаты и в конец разгоняют эту сволочь. То-то, брат, берегись забавляться политикой, говорю тебе это по дружески.

— Верю,—отвечал я,—и нисколько не думаю ею забавляться.

Когда графинчик опустел, Матерн сказал мне, что ему нужно быть на перекличке, и что до Венсена считалось с добрую милю расстояния. Он встал и застегнул свою портупею, а я пожал ему руку. В то время, как он торопливо шел через мост, я расплачивался за пиво и водку, потом возвратился домой. Свидание с ним мне было приятно, но я также был сильно удивлен его рассказом о негодяях, принявших на себя обязанность убивать своих товарищей.

„Если бы господин Гизо стоял за правду,—думал я,— то не нуждался бы в таких мерах: все честные люди пошли бы за ним. Но кто отвергает справедливые требования, того всегда мучит страх, тому необходимо опираться на помощь убийц и изменников“.

Встреча с Матерном доставила мне мимолетное удовольствие. Что подумать, скажите пожалуйста, о человеке, который ест, пьет и называет родину трущобой, нестоящей доброго слова?

При мысли об этом в сердце закипает негодование.

Ведь такие товарищи несносны; они далеко неспособны облегчить вам сердце. Мне, право, не было охоты с ним еще повстречаться, и мысль о поездке на родину подступала ко мне с новой силой: парижская вода, пища, тени домов меня мучили.

„Здесь-то суждено сложить мне кости!—часто думал я в отчаянии.—Меня смешают с сотней других, совершенно чужих мне мертвецов, на кладбище, где нет и следов зелени!.. Ведь это ужасно!"

По вечерам мне иногда снилось, что тетушка Балс занемогла, что ей нужна моя помощь, что она меня звала,—и я в ужасе просыпался.

Я не вынес такого мучительного положения и отправил доброй старушке письмо, в котором так и слышались мои стоны.

„Если вы еще живы, напишите мне, потому что я выбиваюсь из сил. Я лучше все брошу и приду к вам на помощь. Скажите мне только, здоровы ли вы?"

Через четыре дня спустя, я получил ее ответ, который сохраняю до сих пор: перечитывать эти старые письма так отрадно, как будто сызнова начинаешь жить. Вот ответ старушки от слова до слова.

„Милый мой Жан-Пьер, я, слава богу, здорова и ни о чем не беспокоюсь, зная, что ты на хорошем месте. Не все ли равно, жить в Париже, Дрездене, Мадриде или Сен Жан-де-Шу: лишь бы ни в чем не было недостатка. Выбрось ты из головы грустные мысли. Я видела сотни рекрутов, которые хворали именно потому, что их мучили грустные мысли. А если бы они спокойно покорились судьбе и ели свой паек, то избавились бы от всяких лихорадок, были бы свежи и здоровы. Кто не думает много—всегда здоров. Вообрази себе, что все

идет отлично, и ты будешь доволен, а кто доволен тот и здоров.

„Если бы я была больна или в чем нуждалась, то сейчас бы тебя уведомила, но я никогда не была так здорова, как теперь, особенно с того времени, как меня навестил твой товарищ — Эммануэль. Он не поленился взобраться ко мне на третий этаж и рассказать мне, как ты работаешь и как вы оба бегаете по столице. Этот достойный и красивый молодой человек хотел даже обнять меня от твоего имени. Теперь я, конечно, старуха, а была и я когда-то совсем не такая. Это очень умный юноша, и мне было бы приятно, если бы вы постоянно оставались друзьями. Для тебя, Жан-Пьер, нет лучшего общества; Эммануэль скоро возвратится в Париж и расскажет тебе больше. Помни же, что твоя добрая, старенькая тетушка Бале вовсе не собирается умирать и с божьей помощью надеется еще не один годок пожить вместе с тобою.

„Я бы поболтала с тобой еще немножко, но мне нельзя долго писать с очками: лучше поберегу свои глаза. Обнимаю тебя несчетно, добрый Жан-Пьер, и желаю тебе не унывать, как не унывает

твоя добрая мать

Мария-Анна Бале“.

Письмо это принесло мне невыразимую радость; я ободрился и даже стал называть глупостью мое прежнее отчаяние. Но судьба готовила мне другие, менее приятные известия.

Осень приходила к концу. Студенты стали показываться в старых улицах; они возвращались разодетые франтами, а с ними молодые женщины преобразились опять в щеголих и принялись за прежние пляски, крик и хохот. Во всех окнах меблированных комнат по улицам Ла-Гарп, Сен-Жак, Медицинской Школы и соседним раздавались звуки веселой песенки „Ларифла“.

„Что же это Эммануэля не видно,—думал я,—где-то он теперь?“

Мимоходом я вглядывался в каждую физиономию и уже начал беспокоиться, но раз вечером, когда я возвратился из мастерской, господин Трюбер закричал мне:

— Вам есть записочка!

При этом он подал мне коротенькое извещение Эммануэля: „Я приехал и нахожусь в прежней квартире. Жду тебя!“

Несколько минут спустя я уже взбирался по лестнице дома № 7 в Песчаной улице. Эммануэль уложил свои вещи в комод и, сидя в халате перед вкусной жареной уткой, покуривал трубочку.

— А, Жан-Пьер, здравствуй, голубчик!

Мы бросились друг другу на шею. Какое счастье обнимать доброго товарища!

— Ну... ну... милый мой,—говорил он,—выпей чего-нибудь, да покурим, а я порасскажу тебе, что делается в нашей стороне.

— Ну что, все ли там благополучно?

— Слава богу!

— Тетушка Бале?

— Здоровехонька.

— Дюбурги?

— Еще бы после такого жирного наследства! А вот ты, друг мой, похудел: уже не был ли болен?

— Нет, слава богу, но я страшно скучал: мысли о родине, об осени, о прошлом, о красных виноградных листьях на горе—вот что меня съедало, понимаешь ли ты?

— Да, да, это мне знакомо. Но что же делать, мой бедный Жан-Пьер! Надо, голубчик, ко всему привыкать. Теперь скажу тебе, что весь город Саверн просто изумляется, глядя на Дюбургов: они купили большой дом на площади, выписали мебель из Страсбурга, а г-жа Мадлен, вся разодетая в пух и прах, прогуливается важно по аллее замка.

Эммануэль улыбался; я тоже старался улыбнуться, но мне невыносимо тяжелы были все эти бестолковые затеи.

— Что поделывает дядюшка Антуан?—спросил я.

— О, это все тот же почтенный человек: теперь у него прибавились хороший касторовый сюртук и пуховая шляпа. Он также прогуливается на площади, но просто, без чванства; там-то и случилось мне его видеть; дружбу ведет с старыми капиталистами и отставными военными. Ты не поверишь, как мои рассказы о тебе были ему приятны. „Ах, как я доволен, господин Эммануэль, вашими известиями,— сказал он мне—я так люблю Жан-Пьера! это человек с благородным сердцем“,—ну, и так далее. Он даже хотел меня пригласить к обеду, но я бы стеснялся в присутствии важной барыни — мадам Мадлен.

— Все зто я предчувствовал заранее,—заметил я,—у мадам Мадлен не хватает толку, но ведь Аннета, надеюсь, на нее не похожа.

— Ни мало,—подхватил Эммануэль, — да и то сказать—что идет семнадцатилетней девушке, не пристало сорокапятилетней бабе. Аннета—прехорошенькая, свеженькая; зубки у нее беленькие, глазки голубые, талия — прелесть! Понятное дело, что ей будут к лицу модные фалбалы. Ну, а всетаки, между нами, Жан-Пьер, ей бы не мешало иметь побольше простоты и скромности.

— Так ты говоришь, что она хороша?

— Чудо что такое! Прибавь к этому полновесное приданое, и ты поймешь, отчего в их дом является целая ватага посетителей. Бедный лакей умаялся, думаю, натирая воском лестницу.

— Так у них лакеи натирают лестницу воском?

— Ну да, разумеется!

Эммануэль догадался, что все это было мне очень тяжело. Но я хотел узнать самые ничтожные подробности. Лучше оглохнуть, нежели слушать такие рассказы, но, к несчастью, когда они начаты, тебя так и подмывает выслушать все до конца.

— Кто же к ним ходит?—спросил я.

— Вот странный вопрос! Да все, кого соблазняют приданое и красота молоденькой девушки, вся тамошняя

молодежь приличного круга: чиновники, клерки, потариусы, адвокаты без дела; я мог бы тебе назвать дюжины с две подобных претендентов. Ведь стоит только натянуть черный фрак, белый жилет и перчатки, а хозяева уж угостят радушным обедом. Господин Гесс, органист, садится к роялю, открываются три больших окна, распеваются развые дуэтики, а уличные зеваки толпятся на площади и задирают вверх носы.

Эммануэль, рассказывая мне все это, как самое обыкновенное дело, выпивал свой стакан и набивал трубку; по временам он подходил к окну и выглядывал на проходивших мимо своих товарищей, потом опять ходил и самым беспечным голосом заговаривал со мной.

— Ну-ка, ну-ка, выпей, дружок. Если у нас хватит времени, мы отправимся в Одеон; я читал афишу — сегодня дают что-то необыкновенное.

А меня как будто мороз подирал по коже.

— Вот, брат, что значит нечаянно разбогатеть,— продолжал Эммануэль, — и втереться в круг совсем иных людей. Это несчастное семейство позволяет провинциальным блюдолизам надувать себя бессовестнейшим образом и не замечает, что разная сволочь добивается вкусного приданого. Я бы мог не говорить тебе ни слова об этой истории, но, знаешь, мы всегда интересуемся людьми, с которыми были знакомы еще с детства.

Я понурил голову и глядел в землю; хотел отвечать, то что-то такое сдавливало мне горло. Наконец, собравшись с духом, я пробормотал:

— Да, это тяжело.

— Конечно, Жан - Пьер, это очень скверно; боюсь, даже, чтобы какой-нибудь негодяй не достиг своей цели.

— Будто бы ты думаешь, что кто-нибудь из этих блюдолизов может успеть?..

— Я в этом не сомневаюсь. Уже ходят кое - какие толки о впечатлении, произведенном господином Бреслау; это, братец, красивая, статная, вечно завитая и серьезная фигура, с окладистой бородкой и черными усами, одним словом—бель-ом!

Я не выдержал и вскричал:

— Подлец!

— Скажи лучше—дурак,—подсказал Эммануэль, окинувши меня удивленным взглядом.

— Дурак, подлец, мерзавец!

Это была невольная вспышка злости, после которой я продолжал:

— Ну, да, впрочем, что нам за дело! Если мадам Мадлен так глупа и господин Дюбург так слаб, что позволяют смеяться над собою жадным вертопрахам — это их дело. Мне жаль только бедняжку Аннету: она ведь ничем не виновата, что ее матушка полусумасшедшая старуха.

— Постой, постой, она вовсе не так достойна сожаления, как ты думаешь. Ты не воображай себе, Жан-Пьер, что ей неприятны все эти визиты, комплименты, интересные вздыхатели, изнывающие у ее ног и называющие ее прелестной; она очень не прочь протанцовать с ними шестую или седьмую кадриль. И когда является красавчик Бреслау, завитой на фуфу, раздушенный и расфранченный, мадемуазель Аннета вовсе не кажется несчастною.

— Ты сам видел?

— Нет, но слухом земля полнится.

Мне хотелось разбить, раздавить что-нибудь. Уж какие усилия я ни употреблял, но никак не мог унять своего внутреннего волнения и потому, вдруг вставши, сказал:

— Итак... Ведь я к тебе сегодня вечером мимоходом...

— Куда же ты?

— Пойду к господину Перриньону, моему хозяину; он одолжил мне историю революции, надо возвратить ему эту книгу.

— Ба, ба! Так ты читал историю революции, Жан-Пьер? Ну-ка, расскажи, что ты об этом думаешь?

— Я в восторге.

— Так, брат, так... Дантон, Верньо, Гош, Клебер, Марсо... Значит, мы с тобой одних убеждений; тем лучше! Да что же ты не допиваешь своего стакана?

— Не хочется.

Я хотел бежать от него; щеки мои сильно дрожали, и в эту минуту, я думаю, Эммануэль сам начал догадываться о моем волнении, потому что сказал мне:

— Ну, прощай; завтра или после завтра мы опять увидимся... и потолкуем.

Он посветил мне стеариновой свечкой, а я, сжимая ему руку, говорил:

— Да... мы потолкуем.

Потом все стемнело, и я ощупью спустился с лестницы. Вольный воздух раздражал меня еще более. Я бежал стремглав по тротуару и толкал прохожих, как полоумный. Два или три раза мне даже, кажется, закричали: „эй вы, тише“,—но наверное не знаю.

Словно какие-то тени, мелькали мимо моих глаз газовые фонари, экипажи, лавки, повороты улиц, в которых раздавались крики: „поди! поди“!

У меня мелькала только одна ясная мысль:

„Должен ехать в Саверн, напасть на Бреслау и задушить его: меня убьют—тем лучше, кончатся мои страданья“!

Потом мне представлялись физиономии дядюшки Антуана, господина Нивуа, тетушки Бале, и новое раздумье—что скажут они? —приводило меня в смущение. Но как сильно я ненавидел глупую, чванливую г-жу Мадлен, которую считал причиною всех несчастий! Ах, как была она мне противна!

Пройдя довольно большое расстояние улицей Копо, ботаническим садом и лежащим далее за ним мостом, я вышел на Бастильскую площадь и увидел возле ее колонны торгаша, игравшего на литаврах; кругом меня толпился народ; колени мои дрожали до такой степени, что я должен был сесть под навесом соседнего ресторана. Здесь я потребовал пива и, скрестивши ноги, хо-

тел развлечься суматохой, криками, ездою множества омнибусов, экипажей и громкой руготней извозчиков.

Все это представлялось мне тяжелым сном. Дилижанс, отъезжавший на мою родину, пробудил меня, и я стал размышлять:

„А если бы мне сесть туда... После завтра я был бы в Саверне, рассчитался бы с Бреслау!“

Я встал, заплатил и ушел, не допив пива.

Была уже поздняя ночь, когда я проходил чрез площадь ратуши; дальше на плескавшейся и блестевшей внизу реке пролегали огромные тени башен церкви Богоматери, отражения мостов и старых зданий. Страшные события революции опять заняли мое воображение.

„Сколько матушка-Сена носила на себе всяких трупов—и негодяев, и честных людей,—раздумывал я...—Теперь все они навеки заснули... Но самоубийцы—люди недостойные... Они, значит, боятся страданий“...

Спустя еще несколько минут, я позвонил; дверь отворилась, и я добрался до своей комнаты.

XXI.

С этих пор мысль съездить в Саверн и покончить с господином Бреслау часто приходила мне, но каждый раз я говорил себе:

„К чему это послужит? Меня возьмут жандармы, а тетушка Бале умрет с горя. Я сделаюсь посмешищем целого города; мадам Мадлен будет меня презирать, мадемуазель Аннета, увидя, отвернет голову, а дядюшка Антуан скажет: „Никогда я этого не мог от него ожидать!“ Меня осудят и господин Нивуа, и дядюшка Васеро, и капитан Флорентен, и госпожа Френцель, одним словом—все порядочные люди в городе. Успокойся лучше, Жан-Пьер!

Разумеется, эти соображения были мне не по душе, но что же делать: бессилие всегда должно слушаться голоса рассудка.

Парижская зима не приносит с собою картофеля и охапок дров... Деревенские жители воображают себе, будто знакомы хорошо с зимою, и говорят: „что-ж, можно есть вареную картошку... потом опять картошку...“ Ну, а если нет и этой пищи—вот когда худо!

Впрочем работа у меня была, а постель свою я находил довольно сносною. Стоит только поглядеть в дождливую ночь на несчастных нищих, полунагих женщин с их малютками в руках или на дрожащих от холода стариков под фонарями: вот тогда-то скажешь спасибо своему теплому одеялу.

Тогда уж не станешь думать:

„У других есть пуховики, ковры, другие забавляются музыкой и удовольствиями, другие танцуют в Прадо и пьют пунш в ожидании карнавала“.

Нет, иные мысли придут в голову:

„Многим, более меня достойным людям постелью служит мостовая, а одеялом—тучи дождевые!“

Или:

„Положим, что ты—от чего избави боже—женат и не имеешь работы: что тогда станется с твоей женой и детьми? Что станется с тобою самим под старость лет?“

Такие мысли приучают парижских рабочих здраво посудить. Вместо того, чтобы думать только о своем положении, как поселяне, они принимают участие друг в друге; принимая участие в своем товарище, они и о себе приучаются хлопотать. Я помню, что уже в то время у них было в виду составлять большие рабочие артели. Эта мысль с каждым днем приобретала все больше силы, и я нахожу ее совершенно справедливой, что бы там другие ни толковали.

Какой варвар осмелится сказать ближним:

— Вы будете работать всю жизнь и умрете в нищете. Но я не хочу, чтобы вы помогали друг другу.

Ведь это было бы бесчеловечно!

А между тем на свете есть подобные эгоисты, и я желаю от души, чтобы господь сжалился над ними.

Работа в мастерской и споры в *кабуло* шли своим чередом. Журналисты и живописцы нередко орали так бешено, как будто хотели вцепиться в волосы один другому. Обыкновенно говорили тогда о реформистских сходках, на которых депутаты оппозиции произносили речи при настеж открытых окнах, чтобы слова их могли слышать все прохожие.

Монгальяр прочитывал эти речи, приходившие из Дижона, Шалона, Лилля, Макона.

Я чуть не плакал, выслушивая эти прекрасные и справедливые рассуждения.

„Как хорошо они говорят,—размышлял я,—и как угадывают, что мы все думаем. Теперь-то господин Гизо поймет все и сам сознается в своих ошибках, мы же простим ему, если он даст обещание не приниматься за прежнее. Ведь он тоже человек!“

Я уже не сердился на этого министра, но другие приходили в бешенство при одном его имени. Монгальяр стоял за Ледрю-Роллена, Кубé—за Ламартина, другие держали сторону Одиллон-Барро и Дювержье. Я же всех их находил хорошими людьми и не мог бы сказать, какая между ними разница.

При выходе из *кабуло* мне часто хотелось разведать от г. Перриньона, кто из этих людей ему более нравится, но старик постоянно отвечал мне одно:

— Люди ничего не значат, было бы исправно дело. Ведь вот наше горе во Франции, что мы любим привязываться к людям, а те и вообразили себе, что без них и вода не святится. В продолжение тридцати лет я насмотрелся на замечательных людей. И что же? Все они сошли со сцены, а отечеству от этого не делалось же хуже. Надобно полюбить самое дело, Жан-Пьер. Одиллон-Барро требует содействия способностей, а Ледрю-Роллен—общей подачи голосов. Если бы народ был образован, то, конечно, было бы хорошо всякому предоставить право голоса, но ведь теперь четвертая часть нашей нации не умеет читать, и потому я думаю, что лучше обратиться к содействию способных людей.

— Гизо и Луи-Филипп в своей палате допускают только корысть и скупость, которые они величают порядком и консерватизмом; честь, справедливость, свобода ими выгнаны, тогда как без этих трех условий великие дела невозможны. Оттого король и его министр не хотят содействия способностей.

— На первое время Одиллон-Барро и Дювержье хлопочут о праве голоса только для способных людей, и я совершенно одобряю эту меру. Сначала надо образовать народ и, когда он поумнеет, спросить, чего ему хочется.

— Слепой не может судить о красках: знать его мнение о картине пожелает только тот, кому приятно издеваться над горестным положением слепца; но если кто-нибудь станет уверять такого несчастного человека, что он судит хорошо, видит ясно, что не он, а другие слепы, — тот будет издеваться над всем человеческим родом. Впрочем, такие крайности всегда следуют за большими злоупотреблениями; сталкиваясь взаимно, как те, так и другие минуют свою цель и проходят за нее дальше. Во всем нужно держаться строгой справедливости!

Несмотря, однако, на все эти доводы, прочие товарищи хотели общего избирательного права.

— Все люди равны,—кричал Кантен,—и должны все делить сообща, начиная с убеждений. Если бы все голоса были одинаковы, то бедные или совсем ничего неимущие стали бы требовать справедливого дележа имуществ; отсюда произошла бы мирная революция, и все было бы поделено поровну.

Это мнение я находил также прекрасным, но раз, когда Кантен опять заговорил прежнее, дядюшка Перриньон сказал с грустной улыбкой:

— Ты рассуждаешь хорошо, Кантен, в тебе виден толк; ты прав, говоря, что все люди равны; теперь, по-твоему, не должно быть лентяев, воров, глупцов, негодяев и завистников. Все мы должны быть хорошими работниками, значит, надобно поровну всем платить; дальше, так как мы все честны, храбры, умны, готовы

погибнуть за правду, то, следовательно, между нами не должно быть ни малейшей разницы, мы должны быть одинаково богаты, одинаковы уважаемы отечеством, короче, во всем, во всем равны между собою. Значит, все частные имущества придется сделать одним общим имуществом. Что же выйдет? Коммунизм!

Он улыбался, но видно было, что коммунизм ему очень не нравился.

— Ну так что же!—возражал Кантен,—разве вы находите, что это несправедливо?

— Нет, это очень удобно для лентяев, воров, глупцов, негодяев и завистников—вот что я думаю! Боюсь только, что от всего этого может произойти страшная резня. Что ж, по-твоему, довольно объявить народу, что дважды два—пять, а он сразу и поверит? Разве вещи изменяются оттого, что мы, как ослы, смотрим на них с изнанки, или, как негодяи, хитро хотим распоряжаться ими для своей пользы? Ты воображаешь, что честные люди, нажившие свое добро трудом, мужеством и терпением, захотят отдать его без боя тем самым лентяям, ворам, глупцам, негодяям и завистникам, которые мешали им работать и наживаться? Поверь мне, Кантен, эти честные люди сумеют защищать свое честное добро еще лучше, чем умели его нажить. С ними будет прежняя их сила. Но положим, чего быть никогда не может, что их придавит большинство врагов: что же выйдет? Старое зерно нашей нации будет задушено; это зерно трудолюбивого, мужественного и гордого французского народа, которому удивляется свет в продолжение тысячелетий, умрет, а лентяи, твердя бестолковые фразы, съедят богатые жатвы нации и напоследок станут пожирать друг друга. К ним придут на помощь русские, пруссаки, англичане и кончат тем, что разберут по своим карманам остатки народного добра, а коммунистов ударами кнута станут неволить к работе. Погибнет таким образом Франция, как позорно погибли не менее великие и сильные государства, когда в них одерживала верх жадная толпа тунеядцев и бездельников.

— За одной несправедливостью всегда следует другая. Господин Гизо отвергает содействие способностей—меру благородную и полезную, которую поддерживают все честные люди; тогда другие добиваются коммунизма! Если потечет кровь, то вся она должна пасть на голову господина Гизо. Он ясно видит, к чему все это может привести... нет, видите, ему уж крепко люб его министерский пост. „Выбирайте между моей гордостью или пропастью,—говорит он,—покоряйтесь или погибайте!"

Говоря это, господин Перриньон страшно побледнел; потом вдруг встал и вышел, не произнеся более ни одного слова.

— Эх, как бы мне хотелось, чтобы он заговорил с Кабе, — сказал Кантен, — тот бы его срезал; я же не хочу с ним спорить. Это старый хрен 89 года, воображающий, что уж ничего нет выше свободы.

Однако, с тех пор я остерегался людей, которым нравился дележ чужого имущества, и обещал себе всегда держать сторону граждан, наживающих добро трудом и добропорядочным поведением.

„Будь весь народ образован, — размышлял я, — тогда, без сомнения, все люди согласятся, что в общем праве голоса заключается самое лучшее положение для нации".

XXII.

В конце ноября между двумя половинами нашего *кабуло* нельзя было бы найти никакой разницы. Споры увеличивались, чем ближе подходило время открытия палат. Всякий мешался в политику, и мы, простые ремесленники, нисколько не отставали от живописцев и журналистов. Все защищали свои мнения о реформе, о содействии способностям, об оффициальных обедах, о всеобщем избирательном праве.

А между тем дождь шел безостановочно.

Не думаю, чтобы на свете был другой такой мокрый в зимнее время город, как Париж, особенно в узеньких

улицах, шага в три—четыре шириною, где сточных труб нигде не было. С утра до вечера льет дождь; на время перестанет, потом опять польется с новой силой. Ночью целые часы сряду внизу домов журчит вода; пьяницы, ворча, шлепаются в лужи, и, когда погаснет на улицах газ, расхаживает муниципальный дозор с большими на древках фонарями.

Нельзя же постоянно сидеть до полуночи в своей комнате и любоваться, как вода стекает по крошечным окнам или как тоскливый месяц по временам выползает из-за серых облаков. Я купил себе в Мазаринской улице поношенный дождевой плащ у одного ветошника, которому студенты, уезжая на каникулы, сбывают всю свою рухлядь. Моя обновка была черного цвета и мохната; по вечерам я окутывался ею и часика на два выходил на мост св. Михаила, на Новый мост, чтоб подышать свободнее, поглядеть на Сену, желтевшую глиной до верху арок, помечтать о родине, тетушке Бале, о господине Бреслау, о политике, обо всех невзгодах жизни и о прочем. Когда ноги мои уставали, я возвращался домой и засыпал в своей постели.

XXIII.

Заседания палат открылись 27 декабря 1847 года.

Из всех политических происшествий того времени мне помнится только, что Луи-Филипп произнес вступительную речь, в которой собиравшихся на сходки называл слепыми врагами порядка, и что после, три недели сряду, продолжались страшные споры о том, какой ответ надо дать королю; в споры вмешались Ламартин, Тьер, Одиллон-Барро, Дювержье, Ледрю-Роллен и многие другие, но, как обыкновенно, большинство одобрило действия господина Гизо.

В прежних газетах всякий может прочесть эти речи, где одни кричали, что все идет хорошо, другие, что все идет прескверно.

Студенты в то же время требовали возвращения прежних профессоров — Мицкевича, Кине и Мишле; не хотели слышать о новых, и я хорошо помню, как раз утром вся улица Сен-Жак от Сорбоннской площади до моста церкви Богоматери была запружена войсками. Дождь лил, как из ведра. Бедные солдатики, в своей крестообразной, тяжелой аммуниции, с сумками у поясов и ружьями на плечах, не имели на себе сухой нитки. Экипажи перестали ездить, и везде слышался стук ружейных прикладов о мостовую да шлепанье человеческих ног по жидкой грязи.

Все это было очень печально видеть в таком городе, как Париж. Между шеренгами солдат студентов пропускали в их школу и этим средством хотели заставить учиться и слушать новых профессоров. Ну, что-ж мудреного, если напоследок молодежь вышла из терпения? Все громко кричали против постыдных распоряжений и держали сторону студентов.

Но это не нарушало общей тишины: ходил только слух, что скоро будет устроена сходка в двенадцатом округе.

Мы же попрежнему продолжали работать у господина Браконо, но я немало удивлялся, что в нашей харчевне на Бумажной улице смолкли споры журналистов и живописцев. По временам кто-нибудь принимался громко и медленно читать речи, произносимые в заседаниях палат. Казалось, будто они боялись прибавить к этим речам хотя одно свое слово, и я, с своей стороны, находил, что они были совершенно правы.

Все они выходили молча, с угрюмыми лицами. Один Монгальяр подмигивал иногда глазом Кантену, ворочая за плечом своей толстой тростью или, лучше, дубиной.

Раз, войдя в мастерскую, я заметил дядюшке Перриньону, что все, повидимому, успокаивается, но тот отвечал мне:

— Перед бурей всегда бывает затишье, милый Жан-Пьер. В ожидании переворота всякому нужно собраться с мыслями и спросить себя: „Как далеко надобно

зайти? Стоит ли для этого жертвовать жизнью, как моею, так и моего семейства—жены и малюток?“ Ну, вот, видишь-ли, иные смиряются, иные принимают твердое решение,—оттого все и кажется спокойным. Если бы ты был когда-нибудь на морском берегу, то я мог бы объяснить тебе эту тишину понятнее. Я наблюдал, мой милый, над морем из крепости св. Михаила, во время полнолуния. Вот передо мной совершенно спокойный берег; вдруг море надувается и с громким шумом обрушивается на берег водяною горою высотою футов в двадцать, тридцать и сорок: это шквал! Потом опять на время все уходит назад и стихает.

Эта волна может выбросить человека далеко на землю и так же далеко унести в море, во время отлива. Вот тебе история людей, настоящая причина всех их революций, блестящих успехов и обратных движений. Когда наростает шквал, его уж не может удержать никакая сила; когда он уходит назад, надобно бросить якорь, где стоишь, чтобы оградить себя от нового нападения моря.

Люди, стоящие во главе правления, должны чувствовать приближение шквала и дать ему пройти, если только в них есть капля здравого смысла, если они не ослеплены гордостью и хоть немножко хотят оправдать доверие к ним отечества. Шквал—естественный прогресс, вот как теперь требование поощрения способностей; удерживай его, разбивай пушечными выстрелами—и он обратится в ужасный потоп.

Только одна человеческая глупость производит все эти бедствия: первый наш шквал был в 89 году; сопротивление ему немцев, англичан и наших аристократов довело его до страшных размеров в 93 году. Поборов все препятствия, шквал хлынул до самого центра России; он ушел назад в 1814 году; опять начал образоваться в 1830 году. Он идет... растет безостановочно. Он всегда существовал, только его не отгадало невежество людей. Они все хотели с ним бороться, не замечая, что это такая же естественная необходимость, как обра-

щение земли и перемена времен года. Будем надеяться, что теперь дело объяснится лучше: пусть одни эгоисты и гордецы погибают, желая бороться с наростающим шквалом.

Когда старый Перриньон был занят этими объяснениями, я замечал, что он сильно раздумывал о своем собственном положении; толстые щеки его морщились, губы сжимались.

— Шквал приближается!—повторял он, тихонько покашливая.

Каждый раз я провожал его домой, но вместо того, чтобы, как прежде, итти по прямому направлению в улицу Клодвига, мы отправлялись сначала к Одеону, улицей Расина и проходили под арками. Старик покупал выходившую тогда частями из печати „Историю жирондистов“ Ламартина и говорил мне:

— Когда у меня соберутся все выпуски, я переплету их в одну книгу и дам тебе прочесть. То, что я уже читал, мне очень нравится; это—справедливо, прекрасно, благородно. Всякий оценивается здесь по своему достоинству, республиканцы наравне с другими. Несмотря на гордость и грубость профессоров, воображающих себя гениями, у Ламартина гораздо более ясности и здравого смысла, чем у них, потому что это—человек с душой. „Он—поэт!“—обыкновенно отзываются о Ламартине. И действительно, он поэт, потому что скорее подмечает величие человека, чем его низость. Но ведь таков недостаток всякого, кто обладает возвышенным и проницательным взглядом; муравьи не имеют этого недостатка. Человек этот хорошо понимает свободу и, в случае опасности от шквала, он мог бы лучше других управлять рулем и закинуть спасательный якорь. Дай-то бог, чтобы наш народ хорошо оценил свои собственные выгоды.

Это слова были для меня очень утешительны; впрочем, не я один, не господин Перриньон или кто-нибудь сам по себе, а почти все ремесленники много полагались на Ламартина. Очень немногие толковали о Луи-Бланс,

о Кабе, о Распайле; все считали их искренними республиканцами, но сожалели, что они не высказали еще вполне всех своих взглядов. Одно сочинение Луи-Блана об уравнении заработной платы очень понравилось лентяям, которые рассчитывали жить привольно с сложенными руками, на что, конечно, честные рабочие никак не хотели согласиться. Все это я припоминаю себе именно теперь, когда дописываю эти строки.

Дядюшка Перриньон, разумеется, находил сочинение Луи-Блана самым опасным вздором и часто повторял мне:

— Эта книга как будто хочет сказать трудолюбивым ремесленникам: „Надрывайтесь, ребята, сколько угодно, а лентяи всетаки съедят ваши заработки: вот ваше утешение!“ Но пора говорить и о революции. Везде я тогда не был, но то, что видел, передаю за верное, и в этом главное достоинство этого рассказа.

Уже три или четыре дня сряду между всеми ходил слух, что будет собрана сходка. Потом стали толковать: „Нет, сходки не будет, префект полиции не позволяет“. Или: „Нет будет: Одиллон-Барро всем заправляет“. Потом: „Одиллон-Барро отказывается“, и так далее, и так далее.

Наконец, двадцать первого февраля, около девяти часов утра, когда мы были за работой, в нашу мастерскую вошел старик довольно почтенной наружности, бледнолицый, долгоносый, с седой бородой и такими же бровями, в широкополой шляпе, надвинутой на затылок, и большом шерстяном галстухе.

— Дома господин Браконо?—спросил он.

— Нет, но я заступаю его место,—отвечал дядюшка Перриньон.

— Ну, так, пожалуйста, предупредите его, что сходка назначена завтра в Елисейских полях,—сказал старик, озирая нас своими серыми и чрезвычайно живыми глазами.—Надобно явиться в мундире национальной гвардии и без оружия.

— Ну, а нас, не служащих в национальной гвардии, попросят убираться?—спросил господин Перриньон.

— Напротив, напротив: приходите все! Чем больше будет народу, тем лучше,—подхватил наш гость, улыбаясь и подмигивая глазом:—ведь это будет протест—мирный, само собой разумеется. Оружия не нужно... но как можно больше мундиров национальной гвардии... вообще побольше народу—это нам и нужно!

Взглянув на дядюшку Перриньона, он прибавил:

— Ведь, вы, старичок, должны меня понимать?

— Да, да, я с вами совершенно согласен.

— Ага! Ну, и прекрасно. Ваша фамилия, позвольте узнать?

— Перриньон.

— Отлично, ну, а я—Деларош, к вашим услугам: прошу любить и жаловать; ведь мы с вами старые воробьи.

Оба захохотали.

Старик потрепал дядюшку Перриньона по плечу, после чего они понюхали табаку.

— Сходка будет завтра, что-ли?—спросил Кантен.

— Завтра в десять часов с богом—в путь, чтобы поспеть к одиннадцати часам на место. Однако, мне некогда, нужно еще сходить по знакомым,—прибавил старичок;—так не забудьте же предупредить господина Браконо о мундире—это очень важно.

— Будьте спокойны,—отвечал дядюшка Перриньон, пожимая ему руку.

Он вышел; мы стояли, сложа руки, и дядюшка Перриньон, вынимая из бокового кармана свои огромные часы—луковицу, сказал нам:

— До завтрака остается десять минут.

Мы опять принялись за работу, передумывая обо всем, нами слышанном.

Десять минут прошло; мы надели свои куртки, вышли, купили хлеба, каждый для себя, и вместе отправились в *кабуло*.

Весть о предстоящем протесте распространилась уже повсюду. Госпожа Грэндорж, скрестив свои толстые руки, хохотала, как полоумная.

— Ну, что! Дождались-таки своей сходки!—кричала она нам.—Слава тебе господи, всем уже уши о ней прожужжали.

Журналисты и живописцы на своей половине толковали, что надобно итти в порядке.

— Ламартин, Тьер, Барро будут присутствовать,—говорил Кубе.

— Очень нам их нужно!—кричал Монгальяр. И в нашем *кабуло* пошла опять перепалка.

— Ну, что-то скажет господин Браконо?—спросил Вальси.

— Уж это мое дело,—отвечал дядюшка Перриньон;—оно, конечно, работа у нас идет спешная, но мы проработаем всю ночь, если будет нужно.

Все мы подхватили, что в случае надобности можно проработать и три ночи. Право, я сам не понимал, что тогда во мне происходило; еще первый раз мне доводилось забывать про себя самого, оставлять работу и спешить на службу отечества. Разумеется, я должен был замешаться во множестве других и не смел мечтать о собственных подвигах, но всетаки не был и нулем. Мысль о протесте восхищала меня, и я так раздумывал о бездушных депутатах палаты:

„Ага! негодяи, вы не хотите позволить нам соединяться! Да разве мы не такие же французы, как и вы? Разве наши права не те же, что и ваши?“

При этом мне невольно приходили на память слова Матерна о тех душегубцах, которые, замешавшись в народ под видом честных людей, убивали своих товарищей.

„Тем хуже для них,—думал я,—мы их передушим“.

Злость охватила меня всего, а по физиономиям других я мог видеть, что и в них говорили те же чувства.

Возвратившись в мастерскую, мы застали господина Браконо дома, и дядюшка Перриньон сейчас же сказал ему:

— Сегодня утром какой-то старичок приходил звать вас на сходку в двенадцатом округе и непременно просил вас предупредить, чтобы вы явились в мундире национальной гвардии.

— Нам не нужно напоминать о порядке; сами, небось, знаем,—заметил господин Браконо.

— Ну, вы там делайте, как ходите, только мы все туда идем.

— Это что значит?—спросил хозяин, поглядывая на всех нас с удивлением.

— Да, мы все пойдем,—с жаром сказал Кантен,—потому что это наш долг. Эти продажные депутаты, которым легко вносить двести франков контрибуции и веcело презирать нас, уже чересчур долго позорят отечество. Нам их не нужно вовсе; нам нужны способные люди.

— Хорошо, хорошо, Кантен,—стал его унимать господин Браконо,—но кричать-то не из чего. Ведь здесь у нас нет, кажется, революции. Все требуют реформы. Только не забывайте, Перриньон, что у вас есть жена и дети; иное дело, когда вы были холостым. Всякий беспорядок не ведет ни к чему хорошему: мастерские закрываются, работники умирают с голоду, и хозяева делаются банкротами. Нет, не люблю я беспорядков.

— Вы думаете, я их люблю?—отозвался Перриньон;—но прежде всего я стою за правду. Если порядок установлен только для того, чтобы возвышать беспутного интригана и держать в унижении рабочего человека; если этот порядок дает бездушным людям богатства, почести, хорошие места, переходящие от отца к сыну, а у трудолюбивых отнимает кров, последнее имущество, даже самую надежду, наконец, если такой порядок покупается унижением отечества,—так чорт с ним и со всеми нами! Вот то-то и есть, господин Браконо: если бы национальная гвардия постоянно исполняла свой долг, если бы богатые граждане помнили, что не одни они существуют на белом свете, что мастеровые, ремесленники, землепашцы также должны пользо-

ваться своими правами, что надобно подавать руку младшему брату, учить и развивать его, тем более, что благодаря ему наживаются старшие, если бы эти богатые граждане захотели расстаться с своим эгоизмом, в котором погрязли вот уже восемнадцать лет, да не потворствовали бы министрам, поедая все доходы нашей родины, если бы они могли понимать, что все это продолжаться вечно не может,—то теперь не было бы никаких волнений, и само правительство уступило бы нам то, что мы, может быть, должны будем взять силою.

— Я не меньше вас недоволен поступками Гизо,— отвечал хозяин,—этот человек уже давно меня бесит. Его грубое обращение с депутатами противной стороны очень низко. Но что же прикажете делать! Работа спешная, заказов пропасть.

— Мы примемся за работу вечером,—отвечал дядюшка Перриньон.—Вы что скажете, ребята?

Все мы дружно подхватили, что если случится необходимость, то будем работать две ночи сряду. Когда хозяин собирался уже выйти, дядюшка Перриньон обратился к нему с такими словами:

— Так вы уж, господин Браконо, являйтесь в своем мундире. Если Луи-Филипп узнает, что многие национальные гвардейцы примешались к народу, то это заставит его подумать, что вся нация требует реформы, и мы ее немедленно получим: Гизо вылетит в трубу, все опять успокоится. Ну, а когда соберется один народ, король будет полагаться на национальную гвардию— понимаете! Ведь наш прямой расчет—действовать заодно; если же между нами будет разлад, то, конечно, все пропало.

— Ну... ну... хорошо, уж это наше дело,—сказал дядюшка Браконо,—может быть, я и в самом деле пойду. Во всяком случае, ведь вы возвратитесь в мастерскую, когда все окончится?

— Конечно,—отвечали Вальси и Кантен.

Работа опять закипела; вечером мы опять разошлись, куда кому вздумалось, и я поспешил к Эммануэлю. Не

застав его дома, я пошел в ресторан Обера—и там его не было. Все было тихо в этой части города; в Песчаной улице муниципальная стража находилась на своих местах; пешеходы спешили взад и вперед, как обыкновенно, экипажи мчались, перекрещиваясь друг с другом; в кофейнях стучали бильярдные шары и раздавались голоса игроков, считавших удары. О политике нигде не было слышно ни полслова.

Я отправился поглазеть на площадь Пантеона. Кругом все было пусто, и ни одна человеческая душа не прогуливалась у решеток. Несколько старушек, с опущенными на нос капорами, выходили из небольшой церкви св. Стефана-Нагорного, купол которой уходил в блестящее звездное небо.

Часов в одиннадцать я возвратился домой, не отыскав своего товарища. Это было 21 февраля 1848 года. Луи-Филипп и его семья нимало не подозревали, что через три дня им суждено было искать спасения в бегстве. Господин Гизо упорствовал, Одиллон-Барро удалился от дел; все же горожане казались совершенно спокойными.

Странная вещь—человеческая жизнь.

XXIV.

Проснувшись на следующий день, 22 числа, я увидел, что все предвещало хорошую погоду. Небо было серо, как зимою; над моими крошечными окнами расстилались длинные облака, но они были слишком высоко, и я стал одеваться с мыслью, что дождя сегодня не будет.

Торопиться мне было незачем, так как утром нас освободили от работы; только в девять часов я спускался по лестнице, отправляясь завтракать.

У меня был тогда большой кошелек в виде чулка; мысль о негодяях, убивавших честных людей свинцовыми дубинами, заставляла меня думать о своей защите, и потому я набил свой кошелек несколькими тяжелыми медными монетами.

Вооружившись таким образом, я вышел из дому. Улицы Сен-Жак, Ла-Гарп и Медицинской Школы были уже запружены народом. Дверь нашей *кабуло* была отперта; за столами сидело несколько посетителей с стаканами вина и легкой закуской. То были люди совсем мне незнакомые, так как в праздничные дни всякий завтракает, где случится.

Подкрепив себя куском говядины и стаканом вина, я отправился на площадь Пантеона, где должны были соединиться окрестные студенты и рабочие. Вдруг раздался громкий стук шагов и крик: „За реформу!“

— Это—первая колонна,—сказали все, поднимаясь.

В один миг все засуетилось.

Студенты, ремесленники, граждане, словом,—все честные люди большими рядами, по три, четыре и шесть человек, подвигались по улице Ла-Гарп, взявшись за руки. Между первыми я увидел Эммануэля, на котором была старая пуховая шляпа; он шел, понуря голову и глубоко задумавшись, а вокруг тысячи раз повторялся крик: „За реформу, за реформу!“

— Ба! это ты,—сказал я, подойдя к моему товарищу,—вчера вечером я искал тебя вплоть до одиннадцати часов.

Он поднял голову и пожал мне руку. Другие, кругом нас, говорили, смеялись, кричали, распевали песни, тогда как он шел, не произнося ни слова. Наконец, у Торгового переулка, на улице Дофинэ, он так заговорил со мною:

— Знаешь ли ты, Жан-Пьер, что меня удивляет? В эту самую минуту, где-нибудь в Тюльерийском дворце или в другом месте пять—шесть особ собираются завтракать, скрипеть перьями или гладить себя по брюху; эти особы, которых называют консервативными министрами, философами или как-нибудь в этом роде, никогда не были знакомы с страданиями народа: знают ли они, что в холодную, зимнюю пору снег падает на больную старушку-мать, беременную жену или только-что родившегося ребенка бедного человека,—или что весною бедняк целые дни проводит за своей сохой, а летом—косит сено день и ночь, разбитый ломовою работою и опоясанный

какою-нибудь тряпкой? Меня удивляет, друг мой, что эти почтенные надутые особы, плавающие посреди роскоши, добытой потом народа, воображают, будто все будут дрожать пред ними, как только они раскроют свои огромные рты и закричат: „Мы не хотим! мы не допускаем!“ Этим удивительным людям кажется, что тридцать два миллиона душ, из которых каждая ничем не хуже любого из них, раболепно покорятся их приговору. Вот что мне удивительно, вот о чем я думаю. Мне так вот и представляется, будто я вижу этих министров: вот они, растянув ноги, поглаживают себе подбородки и говорят: „Да... да... народ... чернь... и смеет волноваться... смеет...“ Если бы ты знал, Жан-Пьер, как мне это удивительно и как эта гордость мне противна! Ломая так долго комедию, эти господа, напоследок, весь свет считают каким-то балаганом!

Посреди шумной толпы голос Эммануэля был так спокоен, как будто бы он говорил в своей комнате, и я с ним вполне соглашался. Эти министры объявляли: „Мы будем за все отвечать, это нас касается!“

Но более всех должен был отвечать Луи-Филипп, отдавший себя в неволю бесчестным советникам.

Чрез Новый мост и Монетную улицу, мы вступили, наконец в улицу Сент-Оноре.

Здесь-то открылась восхитительная картина.

Изо всех окон направо и налево до половины высовывались женщины, размахивая белыми платками, причем крик „за реформу!“ раздавался еще сильнее. Стечение народа от одного конца шествия до другого становилось все плотнее, и сердце мое прыгало от радости.

Всевозможные мысли о революции, о правах народа, о правосудии наполняли наши головы и делали путь незаметным. Многие говорили, что если бы наше прекрасное дело было предпринято весною, то на нас со всех сторон посыпались бы цветы, и я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что восторг народа возрастал с каждым нашим шагом.

Дойдя до Вандомской площади, колонна поворотила направо и не встречала войск по всему пути до бульваров; но, подойдя довольно близко к церкви св. Магдалины, мы увидели сквозь густые толпы все более собиравшегося народа несколько линейных пехотных полков с ружьями у ноги; они были расположены по сторонам церкви, перед решетками, развернутым фронтом, мимо которого мы прошли с единодушным криком „за реформу!“

Глядя на нас, солдаты хохотали совершенно искренно.

Итак, соблюдая строгий порядок, мы обошли эти полки; многие из нас остались на площади, желая видеть некоторых депутатов в соседнем ресторане, тогда как главные наши силы продолжали подвигаться к площади Согласия.

Все это я помню так хорошо, как будто бы это было вчера; между всеми ходил тогда слух, будто мы желаем подать прошение Палате, и потому толпа раздвинулась, чтобы дать нам дорогу.

Мы дошли таким образом до фонтана.

Мне останется надолго памятным, что в это время перед нашей колонной проходил какой-то старичок, одетый в генеральский мундир первой империи; морщинистое лицо его было багрово, как винный осадок, в глазах все еще искрился огонь, а на физиономии можно было подметить выражение тонкого лукавства. Надвинув набекрень свою треугольную шляпу, этот господин говорил нам шопотом:

— Кричите: виват линия! кричите же: виват линия!

При этом он моргал глазами, а я сейчас же стал рассуждать про себя:

„Этому старичку, в самом деле, пришла в голову счастливая мысль. Ведь мы вовсе не сердимся на линейные войска, точно так же, как и линейные войска не думают на нас сердиться. Все линейные солдаты называют своими отцами ремесленников или поселян, значит, они одного происхождения с нами.

„Чего мы добиваемся? Реформы, которая как для нас так и для них—дело хорошее. Что же им за радость стрелять в тех, которые хотят им добра?“

Вот какие мысли были вызваны в моей голове словами старого генерала; при этом я думал, что не худо было бы обращаться так же ласково и с драгунами, и с гусарами, и с кирасирами, короче—со всеми французами, которые должны любить и поддерживать друг друга, а не грызться между собою, как дикие звери.

Раздумывая об этих предметах, я увидел, что мы подходили к мосту Согласия, на котором тогда еще никого не было видно. Но в ту же самую минуту отряд муниципальной стражи, заметя наше приближение, выскочил из гауптвахты и стал против нас, поперек моста. Им командовал простой сержант, которого я, по красной физиономии и из желта-светлым волосам, принял за эльзасского уроженца. Под командою у него было не больше пятнадцати или двадцати человек, а нас было до тысячи, не считая толпы следовавшего за нами народа. Если бы эти господа расположились в двух шагах один от другого, то и тогда бы не могли заградить моста во всю его ширину; это мне было видно очень хорошо, так как я находился в числе тридцати или сорока человек, шедших впереди колонны. В то время, как сержант приказывал своим подчиненным, являвшимся впопыхах и поодиночке, привинтить штыки к ружьям, Эммануэль закричал ему по-эльзасски: „Эй, товарищ, оставь эти глупые штуки!“

Не обращая никакого внимания на досаду сержанта, мы начали свободно проходить и справа, и слева; он должен был ретироваться с своей командой, после чего все повалили вперед неудержимо.

Я рассказывал, что видел собственными глазами. Муниципальным солдатам вовсе не хотелось умирать бесполезно; они сами хорошо понимали, что пятнадцать человек не в силах арестовать целые толпы высыпавшего на площадь народа; но люди склонны изображать небывальщины.

Наконец, мы прошли через мост; по другую его сторону все решетки палаты депутатов были отворены настежь, и вся наша колонна вдруг ударила врассыпную: одни разбежались между решетками, другие давай карабкаться по большой лестнице, как дикое и беспорядочное стадо.

— За реформу! Долой Гизо!—слышалось со всех сторон.

Я был уже на платформе, впереди колонн, но, обернувшись, чтобы отыскать Эммануэля, вдруг увидел, что национальные гвардейцы запирали за ним решетки. Мне сейчас же пришло в голову, что нам приготовили западню; увидя Эммануэля, я сошел вниз и стал кричать ему:

— Сюда скорее!

В тот же самый миг стекла камеры, между колоннами, попадали с ужасным звоном на землю; внизу Эммануэль, напав на одного солдата национальной гвардии, не допускал его запереть маленькую решетку слева,—последнюю, которая еще оставалась отворенною; другие подоспели к нам на помощь, тогда как национальная гвардия поспешила за ближайшим подкреплением.

Некоторые уверяют, будто депутаты выходили усмирять нас, но я, право, ничего подобного не видел.

Свалка была порядочная. Новой команде национальной гвардии удалось запереть маленькую решетку и выгнать вон тех, которые еще находились внутри ограды. Но толпы народа валили с площади, карабкались по решеткам; дети старались влезть на два пьедестала статуй, представляющих бородатых старцев, в величественном сидячем положении, в длинных одеждах.

— Уберемся отсюда, Жан Пьер,—говорил мне Эммануэль,—и как можно подальше, потому что здесь неминуемо должна начаться свалка.

Мы опять перешли чрез мост; на другой стороне выдавались углами окопы тюльерийского дворца, за которыми красиво и опрятно были расположены ма-

ленькие садики; эти окопы защищались широкими каменными оградами: мы влезли на них, чтобы обозреть лежавшую за нами местность.

Но лишь только мы взобрались наверх, как увидели, что густые толпы бежали на мост. Мы не знали, что такое случилось, но, взглянув нечаянно в сторону Института, увидели строй драгунов, скакавших марш-маршем.

Этот эскадрон был, однако, еще так далеко, что подвигался вперед незаметно. Как бы то ни было, но не более, как через две минуты, он был уже у моста.

— Да здравствуют драгуны!—грянули толпы народа. Драгуны в галоп пронеслись по мосту, и еще несколько секунд виднелись блестящие их каски в густой куче народа, который сторонился при их приближении и опять смыкался плотно, когда они проносились мимо. Вся площадь была тогда набита густою массою людей; ни одна капля дождя не падала на землю, а между тем в воздухе чувствовалась сырость.

Еще долго глядели мы на все это движение; потом, часу во втором, слезли вниз и пошли бродить на удачу; вдруг, со стороны церкви св. Магдалины, раздались звуки „Марсельезы". Этот гимн до того времени был мне неизвестен, и теперь он показался мне чем-то ужасным и торжественным.

— Это „Марсельеза",—сказал мне Эммануэль, бледный, как полотно.

Мы пошли скорее по направлению к церкви, но в противоположной улице толпы народа стояли темною, сплошною стеною, чрез которую скоро нам никак нельзя было пробиться.

Подойдя к фонтану, за обелиском, я увидел, что какой-то бородатый человек, подняв шляпу, распевал необыкновенно усердно, а вокруг него толпились сотни других песенников.

„Это, верно, Перриньон",—думаю я.

Всякий поймет, как сильно хотелось мне подойти к нему поскорее; Эммануэль кричал мне сзади: „Да постой же, успеешь!“

Но в ту самую минуту я опустил свою руку на плечо Перриньона, который так был увлечен своим патриотическим гимном, что ничего не слышал.

— Господин Перриньон! — кричал я, тряся его за плечо.

Тот взглянул на меня и сказал:

— А, это ты, парнишка!

Потом он пожал руку Эммануэля и опять принялся за пение.

Наконец, все смолкло; тогда пронесся слух, что войска спешили по мосту Согласия и что первые стычки с ними уже начались в Елисейских полях. Поднялся крик:

— Долой муниципальных!

Но все это происходило в таком беспорядке, толкотня и давка людей были так велики, что в нескольких десятках шагов ровно ничего не было видно. Все ждали свежих известий, и никто не чувствовал усталости. Часы следовали своим чередом, но ночь наступала как будто медленнее обыкновенного.

В пять часов Перриньон вдруг сказал нам:

— До завтра ничего не узнаешь. Зайдемте лучше куда-нибудь.

Он повел нас в улицу Риволи, где бесчисленные толпы народа начинали понемножку редеть, нигде не было слышно криков; холодный и сырой воздух пронимал нас до костей!

Возле главной конторы омнибусов, на углу Карусельской площади, мы на каждом шагу встречали муниципальных всадников, нас повсюду окружили войсками, и по всем улицам ходили дозоры.

— Пойдем-ка в Ростбиф,—сказал мне Эммануэль,— я просто помираю от голода и усталости.

Я пригласил дядюшку Перриньона, который отвечал мне:

— По мне, куда хотите!

Я заметил, что в голове старика роились самые разнообразные мысли.

Ресторан, в который мы вошли, находился в улице Валуа. И эта улица тоже была охраняема двумя муниципальными всадниками при саблях. Протянувши руку, их можно было бы схватить за узду лошади, но такие мысли нам еще не приходили.

За столом мы ели молча; другие посетители сидели вокруг столов, плотно прижавшись друг к другу.

Одни замечали:

— Все кончено, министерство остается.

Кто-то говорил о женщине, задавленной в атаке, кто о войсках, пришедших из Сен-Жермена; кто о сорока тысячах гранат и ядер, перевезенных в Венсен, где командовал Монпансье. Но все это говорилось как-то робко; никто не отвечал и предпочитал только слушать говорившего. Глаза дядюшки Перриньона ярко блестели; ему, казалось, хотелось заговорить, но он не произносил ни слова.

Эммануэль был точно в подавленном состоянии духа, и на всех лицах выражалось одно беспокойство.

Наконец, около семи часов, Эммануэль встал, заплатил, и мы вышли.

— Не худо бы напиться нам кофе, здесь по соседству,—сказал мне тогда дядюшка Перриньон.

Мы поворотили направо, за угол улицы, возле Пале-рояля. На площади Шато-д'О было совершенно темно так как газовые фонари не горели; но это не мешало народу ходить по разным направлениям. Старый Перриньон взял меня под руку, тогда как я держал под руку Эммануэля; несколько дальше, на повороте улицы Добрых Детей, мы вошли в кофейную Фукса; это было что-то похожее на немецкую пивную: войдя с улицы и не подымаясь по лестнице, вы видите направо конторку, перед собою залу, далее еще одну боковую залу с бильярдом и затем маленький дворик.

Из первой залы, где была конторка, витая лестница вела в большую комнату, занимавшую весь первый этаж; здесь несколько позже собирался немецкий клуб, где распевались меланхолические песни, и немцы толковали о присоединении Эльзаса и Лотарингии к Германии посредством дарования всем тамошним жителям избирательного права. Мне хочется смеяться каждый раз, как я об этом вспоминаю.

Г. Фукс, прежде швабский портной, содержал это заведение сообща с своей женою—бледнолицей и голубоглазой немкой.

Господин Фукс был хромоногий, широкоплечий мужчина, с высоким и довольно объемистым лбом, маленькими глазами, носом, похожим на сливу, и вообще простодушным выражением лица, хотя не мешает заметить, что под этим наружным простодушием скрывалась очень хитренькая натура.

В этом самом углу улицы Добрых Детей, дня два спустя, пули посыпались градом со стороны площади Шато-д'О, и раненых беспрерывно переносили на соломенных подстилках.

Но кто, скажите пожалуйста, мог бы предугадать подобные ужасы в то время, как мы там были? Со времен первой республики улица Добрых Детей наслаждалась совершенною тишиною, разве только звон бутылок и тарелок раздавался из ресторана господина Фукса.

Так-то все непостоянно на этом свете...

В заведении большая гурьба гостей толкалась вокруг столиков. Нам сначала подали кофе, потом пиво. Со всех сторон слышалось, что Гизо одержал верх, что смутьяны будут арестованы.

Все пили и хохотали; на улице смолкло всякое движение. По временам в ресторан входило еще несколько посетителей, но их гораздо больше выходило на улицу; хозяин шагал от столика к столику и говорил гостям:

— Вам бы лучше, господа, итти по домам, потому что на улице будет расставлена стража; сегодня вечером начнутся аресты: будут брать всякого, кто по-

кажется на улице после одиннадцати часов. Мне очень хочется торговать, но все таки жаль же добрых моих посетителей.

Он был знаком с дядюшкой Перриньоном; остановившись перед нами, Фукс протянул ему свою толстую картонную табакерку со словами:

— Ну-ка, понюхайте... а потом с богом!

— Что ж это вы нас прогоняете, что ли?—спросил старый Перриньон.

— Нет!.. Да ведь о вас же хлопочу, странный человек.

— Пожалуйста, в чужие дела не мешайтесь,—заметил ему Перриньон.

— Ну, как знаете,—обидясь, сказал хозяин,—по мне все равно, пусть вас и арестуют.

И с недовольною физиономиею он отошел от нас к соседнему столику.

Но ресторан пустел с каждой минутой.

Старый Перриньон поместился посреди нас; лучше других подробностей нашего разговора я помню, что Эммануэль, как и все другие, считал волнение оконченным, и что дядя Перриньон на это мнение отвечал ему вполголоса такими словами:

— Напротив, волнение теперь только что начинается. Ремесленники до сих пор не очень доверяли национальной гвардии; но теперь они видят, что Луи-Филипп и Гизо струсили, и что, следовательно, все пойдет хорошо. Ведь если народ и национальная гвардия соединятся вместе,—кто может им сопротивляться? Да разве все войско набрано не из среды народа и буржуазии? Разве солдаты пожертвуют отцами и матерями, чтоб подддерживать господина Гизо? С одной стороны стоят король, министры, двести или триста продажных депутатов, из которых, по крайней мере, три четверти—чиновники, а с другой—весь народ. Если бы вы могли сегодня ночью заглянуть в дома Сент-Антуанского или Сен-Марсельского предместья, то узнали бы, что все приготовляется к протесту. Женщины, разумеется, всегда оди-

наковы: им не хочется ничем рисковать, им жаль своего семейного гнездышка! Но мужья и холостежь, повторяю вам, не спят и готовятся. Во многих местах из-под кровельных черепиц вытаскивается старое ржавое ружье 1830 года; где только вы заметите сверху легкий дымок, ручаюсь вам, что там льют пули. Чем более все кажется спокойным, тем скорее надобно ожидать сильного взрыва. Не понимаю, как может дремать теперь Луи-Филипп, которого нам выставляют таким тонким политиком. Завтра, если только не сегодня ночью, начнется дело.

Было часов одиннадцать, когда он говорил нам это; все гости вышли из заведения, и за столами, кроме нас, сидело два—три ближних посетителя. Мы также встали, желая идти домой и раздумывая о всем виденном и слышанном. Перриньон расплатился, и мы вышли. На дворе стояла такая темнота, какой я всю жизнь свою не видел: чтобы дойти до поворота улицы, нужно было ощупью пробираться вдоль стен; нигде не было видно ни одного огонька, ни один газовый фонарь не освещал улиц. В этом шумном городе, где экипажи немилосердно грохочут день и ночь, теперь было так тихо, как будто все жители вымерли.

Только в улице Сент-Оноре, у Палерояля, нам послышался топот пяти или шести лошадей; желая прислушаться лучше, мы остановились, и до наших ушей донесся металлический звон ножен сабель.

— Тсс!..—шепнул нам Перриньон;—это ходят патрули, чтобы мешать постройке баррикад... Верно, конные егеря или драгуны... Беда, если они нас услышат!

Мы продолжали итти тихонько вдоль зданий. Но почти в то самое время со стороны Рынка к нам навстречу ехали другие всадники, и Перриньон шепнул нам как можно явственнее:

— Стой! Мы попались между двумя обходами. Спрячемся скорее под воротами.

Сказано—сделано.

Десять минут спустя, мимо нас проехали пять или шесть кавалеристов, прислушиваясь и приглядываясь во все стороны. Будь хоть одна звездочка на небе, они наверное отыскали бы нас, но к нашему счастью было темно, хоть глаз выколи. Мы могли различать их посреди улицы, в расстоянии пятнадцати шагов; каски их украшались маленькими прямыми султанчиками, а сабли отсвечивали голубоватым отблеском. Вдруг они остановились и принялись усердно прислушиваться... Их лошади, ударяя копытами о мостовую, производили громкий стук, отдававшийся на далекое расстояние. То были драгуны. Они не говорили ни слова и, немного обождав, поехали своей дорогою. Шагов на сто дальше оба караула соединились вместе и вихрем пронеслись по улице; из-под лошадиных копыт вылетали яркие искры; долго мы прислушивались к этому бешеному галопу, стук которого раздавался даже за Рынком.

— Вперед!—скомандовал дядюшка Перриньон.

Мы дошли до Луврской улицы, потом, по Новому мосту, возвратились в Латинский квартал благополучно и без всяких приключений.

XXV.

С рассветом в городе началось обыкновенное уличное движение. Спускаясь с лестницы, я выглянул в слуховое окно пятого этажа,—снаружи все оставалось по прежнему: та же грязная часть города, те же бесчисленные трубы, те же флюгера, Сорбонна, Клюнийский Отель, торговцы ветошью, водовозы и оборванные прохожие.

В самом деле, что значат в подобном городе две тысячи, пять, десять тысяч недовольных людей, требующих реформы? Это все равно, как если бы против города Саверна возмутилось трое нищих, и начальство послало бы забрать их, куда следует; даже еще меньше, потому что здесь никто не говорит: Жан Клод или Жан-Николя арестованы.

Словом, город представлял вчерашний вид; на дворе шел дождь, и я вышел из дому, раздумывая:

„Вчера мы перебили стекла палаты, но ведь это ровно ничего не значит. Старый Перриньон все любит преувеличивать. И с чего он взял, что работники Сент-Антуанского предместья в эту ночь выливали пули, или что они повытаскивали ружья тридцатого года? Эти работники плевать хотят на реформу. Ведь у них нет нашего *кабуло*, где бы кричали с утра до ночи, что без реформы нельзя прожить на белом свете. Нет, революция кончилась, да и бог с ней, а то, пожалуй, может случиться что-нибудь и похуже“.

Посреди таких мыслей я вдруг вспомнил, что мы обещали накануне вечером явиться на работу в мастерскую.

На свою долю я также ждал много упреков и уже заранее находил их справедливыми, потому что мы нарушили данное слово. Каково же было мое удивление, когда под навесом нашего двора я увидел господина Браконо с дочерью мадемуазель Клодиной.

Старый мастер уставлял доски вдоль стены и, казалось, очень удивился при моем появлении.

— А, это вы, Жан-Пьер?—окликнул он меня.

— Да, господин Браконо. Сделайте одолжение, извините меня, что я вчера не явился на работу: мы вернулись домой очень поздно.

— Если бы одно это, беда была бы еще не велика,—заметил честный старик с грустной улыбкой.

— Где же другие?—спросил я.

— Другие, другие... Перриньон, Кантен и Вальси дерутся, верно, где-нибудь. Ну, да бог с ними! Лишь бы дали реформу... лишь бы скорей ее дали!

— Наведайтесь сюда дня через три или четыре, м-сье Жан-Пьер,—сказала мне г-жа Клодина.

— Да, друг мой,—подхватил старый столяр,—вы по прежнему остаетесь добрым провинциалом. Но что-ж вам здесь делать одному? Во всяком случае приходите в субботу, и я выплачу вам ваше жалованье.

В то же время он затворил дверь мастерской, запер ее двойным замком и опустил в карман ключ. Втроем мы прошли через двор; потом они поднялись по лестнице, а я вышел на улицу с такою мыслью:

— Ну, вот и выгнали.

Думая, что господин Гизо был всему причиной, я озлился не на шутку и искренно желал найти товарищей, чтобы действовать с ними заодно против министра.

Проходя дальше, мимо другой мастерской, я увидел, что и она также была заперта.

„Теперь, Жан-Пьер,—говорил я сам себе,—доедай свои восемьдесят франков, сбереженные таким трудом, да помирай после с голоду“.

Щеки мои дрожали; господин Гизо представлялся мне под видом Жари, разбивающего мой стол, и теперь я также был готов броситься в драку, как полчаса перед этим хотел приняться за работу. Не ясно ли, что вся вина наших несчастий должна падать на голову тех упрямых глупцов, которые толкают человека к безвыходной бедности? Но ведь досадно то, что эти упрямые глупцы выходят почти всегда благополучно из несчастия, тогда как беднякам приходится хлебать заваренную ими кашу и погибать разными способами. И где у этих людей совесть? Неужели она их не упрекает? И где у них бог? Неужели им не страшно небесное наказание? Мысли мои страшно перепутывались, и я шел вперед, ничего не замечая. Но вдруг, дойдя до моста св. Михаила, я увидел большое сборище народа в Бочарной улице.

„Верно завязывается бой“, — подумал я; кровь кипела во мне от негодования. Я прибавил шагу и несколько минут спустя вышел на мост О-Шанж, на котором также густо толпились люди. От Пальмового фонтана до ратуши сверкали тысячи касок, сабель и штыков; куда ни обернешься, везде были расставлены полки и эскадроны,—страшно...

Но зачем, спрашивается, были собраны все эти люди? Чтобы защищать самую подлую неправду против всех

честных граждан, чтобы объявить им с дерзостью такие вещи:

„Пусть вы будете сто тысяч раз правы, да мы-то вовсе не намерены вас слушать. С саблями, штыками и картечью можно распоряжаться, и в ведро и в ненастье, как правдою и кривдою, по своему произволу. Плевать нам на всевозможные права, а если это вам не нравится, то мы сотнями пошлем вас на галеры“.

Вот что хотели сказать эти штыки и сабли! А бедный безоружный народ, глядя вдоль набережной с открытым ртом и заложенными в карманы руками, думал: „Ведь этакие бывают подлецы на белом свете!“

Никто не думал кричать и волноваться; все боялись быть пришибленными свинцовой дубиною, такою же праведною, как и все эти штыки и сабли.

Но всего печальнее было слышать выстрелы, которые раздавались в узких, темных переулках позади войск и огромных серых зданий правого берега, позади домов, окаймляющих набережную, с магазинами, где сложены разные железные товары, старые ружья, каски и копья времен Генриха IV. Выстрелы эти следовали один за другим, потом раздавались залпы, шум, пронзительные крики, заглушаемые высокими зданиями и низменным положением этой части города.

О, как сжималось от этого сердце!

Какие-то старухи толковали возле меня:

— Там уже дерутся!... А что, ваш сынок тоже ушел?

— Да, чуть рассвело...

Потом, с дрожащими подбородками, опять прислушивались. Не могу описать, какое сильное сострадание я чувствовал к этим несчастным старухам.

Да, жаль было смотреть на этих горемычных старушек в истертых капорах, на седых стариков ремесленников, стоявших под дождем в холодных блузах, на сотни женщин с грудными младенцами на руках, на бледных мальчишек, заглядывавших в противоположную улицу, где были расположены линейные войска в строй-

ном порядке; жаль было глядеть на этих несчастных людей, из которых одни думали о братьях, другие—об отце, о муже, терзаясь неизвестностью, не зная ничего верного и не будучи в силах пособить своим родственникам, быть может, погибающим под ударами сабель...

Говорят, что любопытные виноваты сами, если по ним стреляют, что им лучше было бы оставаться дома. Но неужели те, которые говорят это, остались бы дома, если бы их дети, друзья находились посреди опасностей смерти? Неужели они находят, что справедливо расстрелять человека только за то, что он вышел из дома, повинуясь невольному страху?

Подобные рассуждения бесят: так только могут говорить бездушные эгоисты,—и да накажет их бог!

О себе скажу, что мне было досадно, зачем я не вышел из дому раньше, и почему старый Перриньон не зашел за мною. Но после он объяснил мне, что в подобных делах всякий должен следовать движениям собственной совести, и что для него достаточно рисковать своею жизнью, не увлекая к тому же и товарищей.

С девяти часов утра до полудня все оставалось в одном положении. Экипажи перестали ездить, на мост никого не пропускали, а в Сен-Мартенском предместьи продолжались ружейные залпы. По временам в улице Сен-Дени из маленьких слуховых окон вылетали клубы дыма. Все глаза обращались туда, и в народе пробегал легкий шопот „ага, выстрел“, хотя самый выстрел не был слышен.

В одиннадцать часов я отправился позавтракать. В нашем *кабуло* не было ни Монгальяра, ни Кубе, ни Перриньона и никого из наших; поэтому я сейчас же оттуда вышел.

„Во что бы то ни стало,—думал я,—а уж я перейду на ту сторону“.

Но вы сейчас увидите, как обращались тогда с людьми не разделявшими мнений господина Гизо, как уважались права народа; я расскажу вам о величайшей низости, какая когда-нибудь видана была на свете.

Ровно ничего не подозревая, пошел я во второй раз к мосту О-Шанж и вдруг увидел, что два кирасира, заграждавшие дорогу справа, ушли с своего места; войска также стали поодаль, в направлении к ратуше.

Всякий, очень естественно, подумал бы: „Это делается, чтобы пропустить арестованных лиц, которых вели в Сен-Денисскую улицу. Но в то же время, с левой стороны, по набережным, ехал какой-то генерал, окруженный всем своим штабом. Он ехал из тюльерийского дворца. По тротуарам моста, вместо кирасиров, были расставлены местами пехотинцы. Все напрягли внимание. Генерал остановился против нас и несколько минут глядел по всем направлениям.

Я рассказываю это подробно, чтобы всякий мог оценить правосудие господина Гизо. Этому генералу стоило только подать знак часовым, чтобы те очистили мост, и никто не оказал бы сопротивления, потому что все были безоружены. Но генерал этим не удовольствовался.

Итак, он глядел по сторонам спокойно.

Мне кажется, что я до сих пор вижу его перед собою: на нем была военная кепи, обшитая широким галуном, и эполеты; это был смуглолицый, костлявый мужчина, с прямым носом, круглым подбородком, черными и необыкновенно зоркими глазами. Он что-то говорил, но мы ничего не могли разобрать, потому что вокруг него с шумом гарцовали офицеры его штаба. Наконец, он поднял раза два или три руку и понесся рысью к ратуше.

Мы смотрели на него и его офицеров, ни о чем не думая; я даже хотел воспользоваться свободным проходом и отправиться в Сен-Денисскую улицу, как вдруг раздался крик, ужасный, надрывающий душу...

Оборачиваюсь,—и что же вижу? Вдоль по набережной мчится во весь карьер отряд муниципальных всадников и давит, и топчет всех людей на своем пути.

Право, не знаю, какое понятие эти господа составили себе о народе. В военное время можно окружать, топ-

тать и рубить врагов, но ведь у них есть оружие для защиты! А тут давят французов, людей, которые на нас работают, которые создают наши богатства, дают нам пищу и одежду, обеспечивают наш пансион, призревают под старость в инвалидном доме,—людей, которых мы называем своими защитниками и добрыми друзьями,—людей одной крови с нами... И настигать сзади таких людей, когда они ничего дурного не подозревают и в руках имеют только трости, вместо всякого оружия... Да каким же именем назвать такое поведение? Разве это—не подлость? Пусть ответят на эти вопросы все судьи моей родины, все отцы семейств, честные люди всего света!

Генерал скомандовал истребить нас, а муниципальному войску это было как нельзя приятнее. И вот побежали женщины, дети, поднимая такой страшный вой, что его, конечно, можно было слышать у ботанического сада. Несчастные женщины на бегу запутывались в своих длинных платьях, какие-то две старухи призывали на помощь, но все это продолжалось не более минуты, потому что атака неслась с быстротою ветра. Земля стонала.

Я не хотел спасаться: это было не в моем характере, и только одна мысль, что все для меня кончено, занимала мою голову.

Я стоял один на тротуаре моста; шагах в пятнадцати от меня старуха прислонилась к перилам, маленький мальчик лет девяти или десяти бегал, как угорелый, направо и налево, не зная, куда укрыться, другая хромоногая старуха никак не могла взобраться по ступенькам тротуара.

В то-же самое время атака приближалась. Длинным строем неслись муниципальные солдаты, сверкая шишаками своих касок; спереди торчали острия сабель, сзади развевались султаны. В ушах моих раздался крик: несчастная хромая женщина, как сноп, свалилась под копыта лошадей, и сабельные удары, как молнии, мел

кали пред моими глазами. От острия до эфеса, даже вместе с замшевым темляком, эти сабли сильно врезались мне в память. При каждом ударе мне представлялось, что чья-нибудь голова отделялась от своего туловища. Вот все, что я могу рассказать об этой атаке, о которой тогда говорил весь город. Она была направлена от Нового моста, прошла через мост О-Шанж и потом повернула по направлению к ратуше.

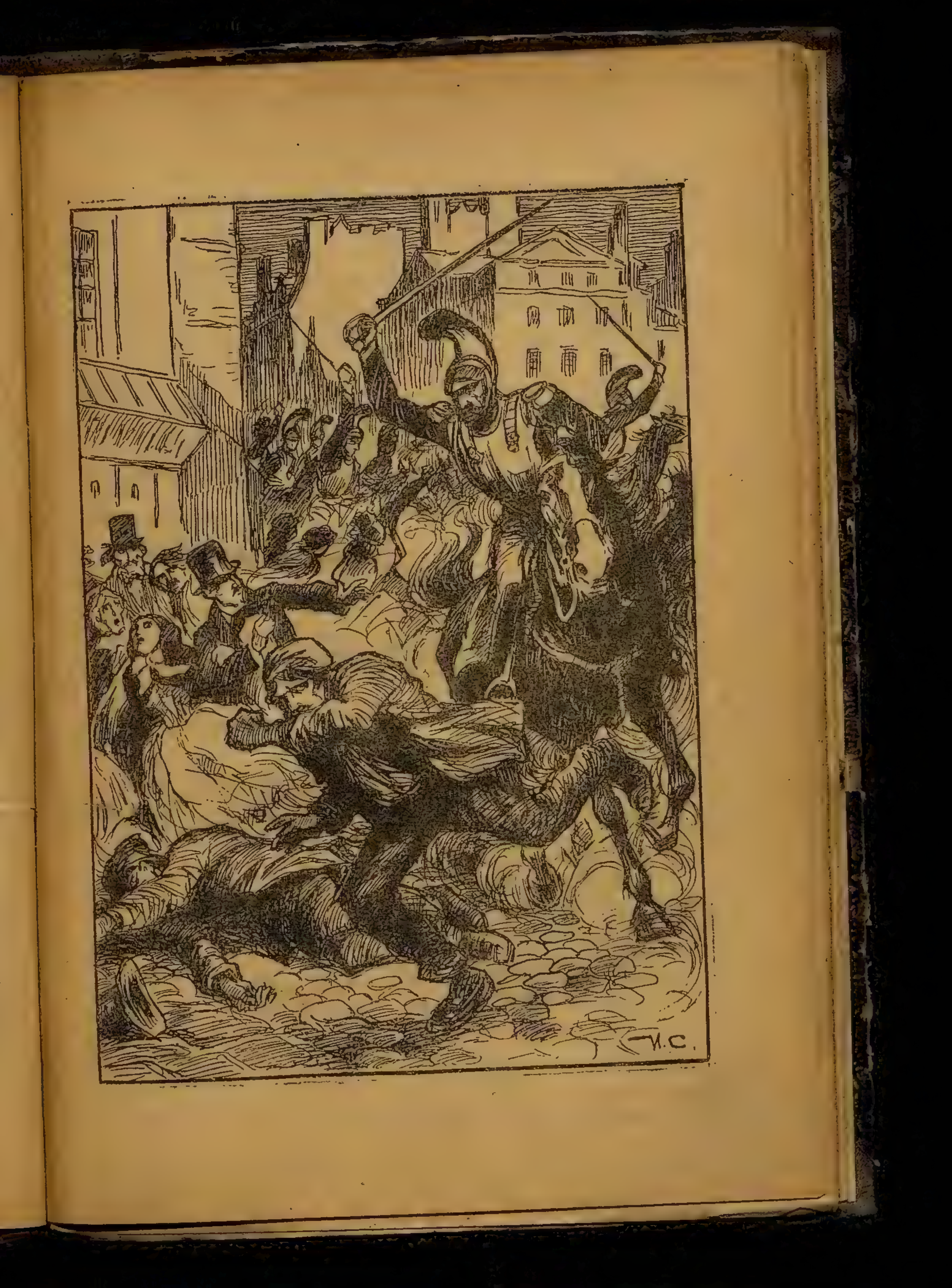
Стоявшему возле меня мальчику достался сабельный удар по затылку; ранивший его муниципальный солдат должен был занести далеко вперед руку, потому что находился на значительном расстоянии от своей жертвы. В ужасе пошел я далее медленным шагом; в конце моста какой-то бледнолицый солдат встретил меня острием штыка и закричал:

— Сдавайся!

Только тогда мысль бежать пришла мне в голову. Я принялся скакать по ступенькам, подпрыгивая вверх футов на пятнадцать. Каждую секунду я ожидал, что вот-вот шальная пуля засядет мне в спину; страх увидать опять кровь невинных людей не позволял мне даже перевести духа.

Таким образом я пробежал чрез площадь Шатле, направо, и по узенькому Фонарному переулку благополучно добрался до первой баррикады, насупротив Жеврской набережной. Баррикада была возведена трехугольником, и люди, ее защищавшие, кричали мне: „Скорей, скорей!“—Они видели как пехотный отряд уже обходил угол площади Шатле.

Разумеется, я бежал, что было духу. Когда я перелез через завал, наброшенный из камня, мои товарищи принялись отвечать на выстрелы, раздававшиеся из улицы Плант-Мибрэ. Но такие ужасы повторяются не каждый день и, следовательно, заслуживают быть описанными поподробнее.


V.C.

XXVI.

В то время, о котором я говорю, еще не была снесена куча домов между башней Сен-Жак и площадью Шатле. Здесь пролегали старые улицы Сен-Жак-Бушери, Торговая площадь, Фонарная и другие; все это было старо, грязно, гнило и узко. Вверху над фронтонами домов поднималась башня, с крылатым львом, быком, похожим на коршуна, и святым Яковом, которые все глядели на вас, точно вы стояли на дне глубокого колодца. Эта местность была еще сносна в хороший солнечный день, когда горланили, бегали и суетились водоносы, ветошники, уличные певцы, окруженные народом, прачки, торопившиеся к Сене, разный люд, толкавшийся на двух рынках; но в дождливую погоду все это принимало другой вид.

Первым моим делом было выглянуть за баррикаду; каково же было мое удивление, когда я увидел шагах в двухстах от нас войска, построенные в колонну и совершенно готовые к атаке...

В голове этой колонны стояли саперы в больших мохнатых киверах, надвинутых на самые брови, белых кожаных передниках, опускавшихся от поясницы до колен, с ружьями и топорами.

Признаюсь, это удивило меня не на шутку, и я не знаю, чего бы я в то время не дал, чтобы иметь ружье. Не менее должен был удивиться я, взглянув на моих товарищей. Этаких ребят мне, право, никогда не доводилось видеть. Всех было около пятнадцати человек, и мне особенно приглянулся один совершенно седой старик, с открытой грудью, крючковатым носом и сжатыми губами; другие были также плотные люди; между ними затерлись два мальчика от десяти и до двенадцати лет от роду. Вся эта компания была запачкана грязью, до костей вымочена дождем, в дырявых и истоптанных башмаках; на одних были блузы, на других куртки, а на двух или трех парнях не было даже и рубашки,

Наша баррикада была никак не выше двух или трех футов; дождь, не перестававший лить, образовал с обеих сторон огромные лужи, в которых люди вязли по колено. Защитники баррикады уходили по временам в узкий переулок налево, заряжали там пять—шесть негодных, кремневых ружей, два огромных ржавых пистолета, и потом, хохоча, как сумасшедшие, стреляли по саперам в одиночку, чтобы дать выстрелившему время всыпать порох, сделать пыж из лохмотьев своей собственной блузы и вогнать пулю. И каждый выстрел отдавался, как гром, в соседних узких закоулках.

По временам также раздавались выстрелы из-за других ближних баррикад, которым отвечали дружные залпы войск.

Что может быть печальнее, бесчеловечнее, ужаснее этой картины убийств в узких, извилистых закоулках под непрерывным холодным дождем! С старых домов бежали вниз ручьи размокшей извести; ставни, оторванные сверху, качались на своих болтах, вывески были усажены пулями. Жутко и страшно было глядеть на трехугольные каменные завалы, казавшиеся какими-то гнездами смерти.

И зачем эти саперы стояли перед нами, как мишени? Право, не могу объяснить, потому что через добрых полчаса они ретировались, не сделавши никакого вреда; но за то после они нас попотчивали сильным перекатным огнем.

Я стоял, прислонясь к стене закоулка. Ветер нагнал в это узкое пространство столько дыма, что все проходившие казались мне какими-то тенями. Мне беспрестанно мерещилось, что вот-вот на нас нападут и изрубят всех по-головно.

Это продолжалось довольно долго. Самое худшее в нашем положении было то, что нас могли атаковать с тылу.

Я помню хорошо, что посреди страшного свиста пуль, задевавших за стены и отскакивавших от каменной ограды, мне пришло в голову произнести обет, в котором я видел тогда наше единственное спасение.

Но припоминая себе, как хохотал дядя Нивуа над разными деревенскими ex-voto, я стыдился произнести свой обет,—и вдруг почувствовал у своих ног что-то мягкое.

Один из наших стрелков получил глубокую рану в голову пулей, и, несмотря на весь ужас при виде раны, величиною в кулак, у меня достало духу нагнуться и поднять ружье. Тогда раздался крик:

— Вот они!

Один из находившихся с нами мальчишек также принялся насмешливо кричать, улепетывая: тра-та-та,тра-та-та, точно хотел бить отступление.

По камням застучали ноги пехотинцев.

Тут я пустился бежать изо всех ног в улицу Арси, не поворачивая головы и не теряя ни одной секунды. Не нравилось мне бегство, но что же я мог сделать один, с ружьем без штыка, против целого военного отряда? Солдатам нужно было не более минуты, чтобы перелезть через нашу баррикаду, после чего они сейчас же начали нас преследовать и осыпать пулями. А я, не встретив на всем пути ни одной отворенной двери, успел уже пробежать Ломбардскую улицу; мне даже хотелось проломать себе вход где-нибудь силою, но везде были прочные засовы. Пули своим неумолкаемым свистом гнали нас все дальше.

В улице Обри-ле-Буше я повернул налево к рынку Невинных, чтобы там немного перевести дух, но вдруг очутился перед целым батальоном пехоты, выстроенным вдоль старых зданий; линия эта тянулась в стройном порядке, и ружья были у ног.

Пройди этот батальон шагов на сто вперед, всем защитникам баррикад, расположенных в этой стороне, было бы обрезано отступление, потому что они очутились бы между двух огней.

Такая оплошность до сих пор сильно меня удивляет. Что думал этот батальон, стоя на своем месте? Лица, к которым я обращался с этим вопросом, отвечали мне, что командующий войсками герцог Немурский забыл отдать приказание и тем многих из нас спас от смерти.

Ободрившись и собравшись с новыми силами, я пошел далее и во второй раз остановился в самом конце Сен-Мартенской улицы, за баррикадой, обращенной к бульвару; мне пришлось проходить через шесть или семь других баррикад, которые, однако, все были оставлены.

Много было уже стычек в этой части города, например, у Сен-Мартенской казармы, у Ремесленной школы и особенно в улице Буррл'Аббе. Все было изломано, исковеркано; на носилках то и дело перетаскивали раненых; о муниципальных солдатах все говорили с негодованием; там и сям раздавались крики: „Да здравствует национальная гвардия! Да здравствуют линейные полки! Долой муниципальных!“

Тогда, должно быть, было часов пять, погода стала разгуливаться, но сумерки наступали. Масса народа двигалась по бульварам к Магдалине, постоянно крича: „Да здравствует национальная гвардия! Да здравствуют линейные полки!“

Национальные гвардейцы разгуливали в толпе народа, и многие из них отдали даже свои ружья. Все хотели реформы.

Полюбовавшись некоторое время этой картиной, я вздумал отправиться в свою часть города. Все, повидимому, успокоилось. Офицеры генерального штаба, проходя по улицам, везде кричали, что господин Гизо удален, но рабочий народ не хотел этому верить и густыми толпами расхаживал вдоль бульваров с неумолкаемым криком:

— Да здравствуют линейные полки! Долой Гизо!

Нет возможности описать всю эту суматоху! Эполеты и красные воротники, замешавшись в толпу, рука об руку разгуливали с блузами! Напоследок я также вышел из-за баррикады, и каждую минуту мне казалось, что в этом омуте людей промелькнули знакомые физиономии Перриньона, Кантена, Вальси; но, убедившись в своей ошибке, я предположил, что они заседают уже в *кабуле* и радостно готовятся выпить за успех реформы.

С такими мыслями отправился я домой, накинув на плечо ремень своего старого ржавого ружья. Мне и в голову не приходило, что вдоль по набережным бой еще продолжался, так как герцог Немурский забыл приказать муниципальному войску прекратить резню народа. Но, проходя площадью Шатле, я увидал, что храброе войско все еще готовилось к новым подвигам; лошади дрожали от усталости и голода под своими всадниками, которые сами от холода не попадали зуб на зуб, но приходили в остервенение, слыша крики: „Да здравствуют линейные полки! Долой муниципальных!“

В то время все линейные войска уже отступили к ратуше и тюльерийскому дворцу.

Два человека медленно тащили носилки к мосту св. Михаила; почти всех остальных раненых несли в больницу Отель-Дье; на улице Ла-Гарп несколько женщин окружили носилки. А я, чуть держась на ногах от усталости, ввалился в наш *кабуло*, где принялся есть один на конце стола.

Мадам Грэндорж была в отчаянии. Она сообщила мне, что ни один из наших не заходил в харчевню в течение целого дня, и что сам господин Арман напоследок ушел, говоря, что он не хочет быть подлецом!

Во время этого рассказа я дрожал от холода. Все на мне промокло насквозь, платье, рубашка и башмаки. Только тогда я понял, что мне нужно поскорей переодеться: зубы мои стучали немилосердно.

На дворе было очень темно, когда я вышел и побежал домой. Дворник, увидя меня на лестнице, закричал:

— А вы — молодец, мсьё Жан-Пьер, везде о вас только и речь; к вам даже приходили наведываться о вашем здоровье.

Уходя в свою комнату, он заметил мое ружье и опять принялся кричать:

— Да с вами не шути... какой храбрый!... Только нехорошо будет, если вас куда-нибудь упрячут.

— Кто первый подступит меня взять,—сказал я ему, взводя курок,—пусть на меня не пеняет... Ружье, небось, не с холостым зарядом!

Тот ничего не отвечал, а я начал ощупью взбираться.

Раздевшись, я уселся на кровати, как вдруг раздался медленный звон набата с собора Богоматери. Маленькие стекла моих окошек задрожали, а у меня самого, при этом протяжном звоне в ночную пору, волосы встали дыбом.

Книга старого Перриньона открывалась, так сказать, перед моими глазами. Я припоминал себе великие дела наших предков и раздумывал, на что мы сами можем быть годны.

Скоро все прочие церкви отвечали собору Богоматери, небо наполнилось торжественным и ужасным гимном.

Тому уже будет семнадцать лет; но кто жил в то время и имел человеческое сердце, тот никогда не забудет о ночном звоне в церкви Богоматери, с 23-го на 24-е февраля. Этот звон говорил людям о правосудии и свободе!...

XXVII.

Было уже не рано, когда я проснулся; на дворе стояла та серая, сырая погода, которая заставляет человека думать: надо быть дождю!

А там, внизу, на улице, уже поднялся шум, произносились несвязные речи, и ружейные приклады стучали о мостовую. В доме словно все повымерли: не было слышно ни постукиваний сапожника, ни шипенья токарного станка, ни глухих ударов переплетной работы. Я вскочил с постели и наскоро оделся. Выйдя на лестницу, я был озадачен новыми загадками: дом был всеми оставлен, двери—настежь, ступеньки были везде мокры и скользки; отворенные во дворе окна стучали о стены,— и ни одной души, которая могла бы растолковать мне, что все это значило. С ружьем на плече, я спустился

вниз из своей пятиэтажной конуры. Но как описать, что происходило в улице Сен-Жак-Матюрен и других смежных улицах? Эти баррикады, возведенные, как укрепления, прямо—с одной стороны, отлого — с другой, с узкими возле домов проходами; эти часовые в блузах, с ружьями, расхаживающие наверху; весь этот люд, гуляющий, толкующий, смеющийся за траншеями: и старухи, и дети, с любопытством везде заглядывающие, и мужчины, отправляющие караульную службу с саблями, ружьями и пиками,—нет, не передашь этого никаким словом! Все парижские улицы, переулки, площади, перекрестки, бесчисленное множество проходов и закоулков представляли теперь вид какой-нибудь нашей бедной деревушки, где навоз, грязь, кучи соломы, рытвины, сараи могут также назваться баррикадами.

Это был уже не Париж, а братская община всего его населения. Работники, зажиточные граждане сошлись вместе. Но по временам всем им надобно было повторять: „Дело еще не кончено; оно только-что начинается!“ Без этих наставлений они подумали бы, что мы уже одержали решительную победу.

В прошлую ночь были возведены тысяча пятьсот новых баррикад, но, чтобы верить подобным вещам, нужно самому их видеть. И в оружии у нас, благодарение богу, не было недостатка: все оно было откопано из тех мест, где лежало в сбережении со времен великой республики.

Как мышь, выползши из своей норки, поднимает кверху любопытные ушки, вышел я из темного, узкого, коридора нашего дома, и посреди всего этого столпотворения, с недоумением стал глядеть на часовых, торчавших в воздухе,—на всю эту публику, которая, высунувшись из окон всех этажей, смотрела на улицы с удивлением и восторгом. Я шел вперед и изумлялся

„Может ли быть?—думал я. — Неужели вот солдат в шинели, фуражке, с сумою—простой работник? Неужели этот город—Париж?“

Потом мысли мои перемешались, и только через несколько минут я мог подумать связно:

„Ну, а что, Жан-Пьер, дает ли еще наша харчевня пить и есть?“

Я взглянул тогда в сторону Клюнийского отеля и увидел две баррикады, соединенные между собою таким образом, что нужно было перелезать через камни, так как здесь не было оставлено промежуточного прохода. Взобравшись на ограду, я увидел еще третью баррикаду у входа в улицу Ла-Гарп; она была обращена к площади св. Михаила. Но более всего меня радовало то, что торговцы не запирали своих лавок, что посетители входили и выходили, ели и пили, как в самое обыкновенное время. Между этими грудами камней жизнь шла своим чередом, как будто уличная битва должна была продолжаться нескончаемо.

Я поглядел на нашу улицу и, размышляя о силе правосудия, воскликнул: „О, великая нация! о, благородные парижане!“ Меня тешили эти мысли и облегчали мое сердце. Потом я начал перелезать с баррикады на баррикаду до самой Бумажной улицы, слыша повсюду, что из Венсена ждали Монпансье... что Бюжо хотел всех проглотить сразу.

Все жаловались на недостаток патронов; у меня самого был только один еще неразряженный ружейный выстрел. В улице Ла-Гарп я спросил одного национального гвардейца, где можно было бы достать пороху, тот отвечал:

— Поспешите в Сенную казарму!

Этот гвардеец командовал дюжиною молодцов и повидимому был в восторге, что ведет их в такое место, где всего можно было достать вволю.

Казарма находилась немного далее, в Сенном переулке, позади бань. В этом узком, темном проходе мы пошли ускоренным шагом в ряд, с ружьями и пиками на плечах, и уже слышали, как на другом конце камни летели в большие ворота при страшном крике:

— Отворите!

Внутри заперлись полроты мушкетеров, под командою поручика. Толпа бросилась во двор, и солдаты были обезоружены в одно мгновение ока,—один из наших брал ружья, другой хватался за сумку. Несчастные мушкетеры не говорили ни слова,—да и что оставалось им делать?

На моей совести лежат также пятнадцать или двадцать патронов, которые я вытащил из сумки одного из горемычных солдатиков, крикнув ему:

— Да здравствуют линейные полки!

— Достанется мне за вас!...—отвечал солдатик.

Это был, без всякого сомнения, такой же, как я сам, простолюдин, недавно поступивший в полк.

Часто с тех пор мне припоминались его простые, грустные слова, и я говорил себе: не следовало так поступать, Жан-Пьер, ты неправ! Ну, да что же станешь делать с лихорадочным желанием добыть патронов. Мне гораздо легче вспомнить о другом приключении в казарме: какой-то человек хотел отнять у офицера его саблю, и это меня сильно раздражило. Не забуду я наружности этого офицера!

Это был малорослый, бледнолицый мужчина с седыми усами; он казался совершенно спокойным при своем несчастьи, и когда старый солдат, у которого уже отняли ружье и сумку, протянул к нему руки, как бы желая защитить своего начальника, офицер поглядел на него с благодарностью и сказал:

— Этот человек меня любит!

Увидев это, я крикнул:

— Оставьте саблю офицера.

Видно, что у меня тогда была страшная наружность, потому что нападающий отступил, выпустив из рук эфес офицерской сабли. В то же самое мгновенье я узнал Эммануэля. Он успел уже завладеть ружьем и вскричал, протягивая мне руки:

— Жан-Пьер!

К нам присоединились также и другие студенты. Мы окружили офицера, который и вышел вместе с нами.

— Не бойтесь ничего, поручик,—говорил я ему.

— Я и не боюсь ничего,—отвечал он угрюмо,—ведь хуже мне не будет!

Вся казарма до самой крыши была нами занята. Толпа повалила в правую сторону, на широкую свободную лестницу, беспрестанно повторяя:

— Оружия! оружия!

Все думали, что в Сенной казарме былы свалены целые кучи военных припасов: многие поднимали даже половые доски, желая поживиться чем-нибудь; но еще за несколько дней все было отсюда вывезено.

В конце переулка офицер нас оставил, и я никогда уже больше его не видел.

Взявшись под руку, мы с Эммануэлем так гордились своим оружием, что несчастие других нас вовсе не трогало. Он хотел вести меня к Оберу, у монастыря Сен-Бенуа, но я объявил ему, что на этот раз не худо заглянуть в наше *кабуло*. Мы и отправились туда через баррикады.

В харчевне собралось столько народа, что нужно было поставить стол вверху, в комнате госпожи Грэндорж. Кто поднимался, кто сходил, кто допивал свой стакан, кто уходил прочь; одни входили, другие жевали хлебные корки, садились. Многие из товарищей моих толпились на половине журналистов, которые, без сомнения, заседали, перечитывая либеральные газеты.

Войдя, я тотчас же узнал голос Перриньона, и это, разумеется, меня очень обрадовало. Не успел я еще отворить дверь комнаты, как все сидевшие вокруг стола принялись кричать:

— Ах, вот он! Вот Клавель! Где это он пропадал целых два дня?

Все хохотали, а мы с Эммануэлем очень скромно поставили в углу свои ружья. Перриньон привстал и закричал, как одурелый:

— Ну, что, парнишка, поймали-таки на этот раз реформу! Небось, уж не вывернется!

Он пожимал нам руки, а Кантен, стоя сзади него, говорил:

— Ба, немножко опоздала ваша реформа... Теперь нам нужно что-нибудь получше.

Никто ему не отвечал. Друзья наши потеснились, чтобы дать нам место. В то же время госпожа Грэндорж явилась к нашим услугам.

Это был, смело можно сказать, самый веселый день, и радость светилась на всех лицах.

В то время как мы ели, другие рассказывали о своих приключениях. Один кричал, что он находился с самого раннего утра в улице Сен-Мери, другой, что он участвовал в атаке Сен-мартенской казармы, третий был при взятии оружейного магазина Лепажа, четвертый—в улице Бур-л,Аббе, где недовольные рассчитывали найти много ружей. Но когда я рассказал, что дрался за баррикадой Фонарной улицы и потом благополучно перебежал оттуда до большой баррикады, возле улицы Зеленого леса, товарищи мои разразились веселым хохотом.

— Молодец, Жан-Пьер,—кричал Перриньон,—я знал что ты честно исполнишь свой долг; наша мастерская отличилась на славу.

И старик хохотал так искренно, что слезы скатывались ему на бороду.

Потом Эммануэль рассказал нам дело у Капуцинского бульвара: около девяти часов народ, ничего не подозревая, разгуливал спокойно, любуясь иллюминацией от церкви св. Магдалины до Бастильской площади; но вдруг по всем улицам проходит колонна работников и граждан, с трехцветным знаменем впереди, за нею, распевая „Марсельезу", является большая колонна Сент-Антуанского предместья, с красным знаменем; батальон 14-го линейного полка преграждает ей дорогу, штыки скрещиваются, раздается выстрел; солдаты дают по толпе страшный залп в упор; там и сям, как пронзительные свистки, раздаются взвизгиванья женщин, толпы народа, в ужасе, тесня друг друга, бросаются в улицу Бас-дю-Рампар. Наконец, по всем переулкам враги министерства

расхаживают с трупами убитых и с факелами; отовсюду слышатся крики мщения,—и вдруг все покрывается ударами набата!

Только теперь я понял, откуда происходила ночная суматоха и каким образом выросли на улицах точно сами собой баррикады. Все мои товарищи знали эту историю, а Эммануэль, бывший в толпе, был увлечен до церкви, св. Магдалины, и потому все видел собственными глазами.

Вся наша беседа продолжалась не более четверти часа, и затем старый Перриньон закричал:

— В поход!

Он смахивал на нашего полководца. Все мы встали, разобрали свои ружья и вышли.

— У тебя есть патроны?—спросил меня Перриньон.

— Есть.

— А у вас?—спросил он Эммануэля.

— У меня ни одного.

— Отдай ему половину своих,—сказал мне старик.

Я сейчас же поделился с товарищем.

Мы пошли позади отряда, направлявшегося в улицу Сент-Андрэ.

В глубокой задумчивости Перриньон сказал нам:

— Вот теперь-то дело становится серьезным; баррикады у нас, слава богу, есть, но нужно их защищать. В эту ночь Бюжо заместил герцога Немурского, он командует войсками в Париже и смотрит на нас, как на зуавов. С пятнадцатью тысячами человек он занимает Лувр, Карусельную площадь, тюльерийский дворец и площадь Согласия; прочие войска размещены на Бастильской площади, у ратуши и на площади Пантеона. Мы находимся между дивизиями, которые захотят соединиться по нашим трупам.

— Откуда вы все это знаете?—спросил Эммануэль.

— Мало ли что мы знаем!—отвечал старик увертливо.—В то время, как нас будут атаковать с тылу, на площади св. Михаила, главного нападения надобно ожидать со стороны трех набережных—д'Орсэ, Вольтера

и Конти. Вот почему мы туда и собираемся. Бюжо думает, что все побегут к площади св. Михаила, пусть разочаруется: всякий останется за своею баррикадой. У нас запасов немного, да и у солдат их не больше нашего. Сообщения с Венсеном прекращены; сами солдаты так же, как и мы, хотят реформы; им гораздо приятнее жить дружелюбно с народом, нежели драться с ним. Национальной гвардии тоже не очень весело подставлять лоб под пули ради господина Гизо, которого она хотела бы отправить ко всем чертям. Итак, если рассудить хорошенько, против нас стоит один Бюжо с своим чахоточным муниципальным войском. Первый шаг выигран: вчера у нас не было ни оружия, ни баррикад; сегодня у нас есть и то, и другое. Значит, дело поведено лучше, чем я думал. Конечно, Бюжо коварнее и свирепее герцога Рагузского, но зато французские солдаты не то, что наемные швейцарцы: им нет никакой охоты убивать нас или пропадать всем до последнего ни за грош. Итак, ребята, все идет как нельзя лучше. Да вот и наша баррикада!

Мы подняли глаза и увидели высокую и прочную баррикаду там, где улицы Дофинэ и Мазарен сходятся с улицей Древней Комедии. За этой довольно хорошо возведенной баррикадой мы увидели несколько оберегавших ее студентов, которые очень обрадовались нашему приходу.

— Вот видите ли, детки,—сказал, не останавливаясь, Перриньон,—отсюда мы можем выйти на Новый мост и набережную Малакэ, можем, в случае надобности, броситься и вправо, и влево. Если нас заставят отступить, тогда силы наши соединятся вместе, значит, тем лучше. Две другие баррикады не допустят Бюжо подвигаться улицей Сены: их стережет славная команда.

За баррикадой старик сказал студентам, что мы одних убеждений с ними и будем поддерживать их до последней капли крови.

Эти честные молодые люди закричали:

— Да здравствует реформа! Долой Бюжо!

Между ними Эммануэль узнал одного из своих товарищей, по фамилии Компаньона, сына торговца лесом Они пожали друг другу руки.

У некоторых студентов не было ружей, но они ждали их от своих товарищей, которым потом было суждено умереть за свободу, и которые пока находились у поворота улицы Сены.

Перриньон немедленно поставил Кантена в караул и сказал студентам, находившимся наверху, чтобы те сошли вниз.

— Каждую минуту,—прибавил старик,—надобно ожидать первого залпа: так пусть же лучше один подвергается опасности, чем многие.

Он говорил это голосом начальника, и все ему повиновались.

XXVIII.

Все, что происходило от восьми часов утра до часу пополудни, мне до сих пор представляется сновидением. Время шло медленно, не принося с собою ничего нового.

— Давно бы пора быть атаке, — говорил Перриньон,—чего это Бюжо так мешкает? Уж не окружает ли он нас с другой стороны?

Дождь шел беспрерывно. По временам студенты входили в соседний ресторан, потом опять возвращались, спрашивая:

— Что новенького?

А мы покуривали трубки и запасались терпением. Наконец, беспокойство овладело нами так сильно, что многие пошли налево, под арку института, желая о чемнибудь проведать. Назад они, однако, не возвращались, а нам слышался уже издали, с другого берега, несвязный гул начавшейся перестрелки. Но беспрерывный дождь, с шумом струившийся по стенам, шлепанье человеческих ног по грязи, голоса из глубины улицы — не позволяли нам узнать, точно ли то были ружейные выстрелы. Теперь уже было известно, что народ, от рыночного квартала

что на правом берегу, подошел по баррикадам к самому Лувру, позади Каруселя, и даже проник в улицу Риволи; известно также, что, не желая оставлять позади себя опасного пункта, он атаковал гауптвахту Шато-д'О, где находился отряд 14 линейного полка. Затеялась довольно живая перестрелка, и ее-то мы, без сомнения, и слышали.

Около одиннадцати часов пять или шесть студентов добрались к нам улицей Жакоба.

В руках они держали печатные объявления и кричали:

— Перемена министерства! Одиллон-Барро стоит во главе кабинета!

Наши студенты присоединились к ним и вместе пошли даже в ближний ресторан за клейстером, чтобы налепить объявления. Но это занимало нас немного, а Перриньон даже рассердился.

Потом студенты, с своими объявлениями под мышкой, отправились к Люксембургу, не переставая кричать:

— Новое министерство!.. и т. д.

Некоторые студенты остались с нами, хохоча от всего сердца, а Кантен, не говоря ни слова, сорвал объявление штыком.

Час спустя явилась национальная гвардия с криком:

— Король отказывается от престола; ему наследует граф Парижский регентом!

Они были в восторге.

— Отлично,—сказал Перриньон,—пусть себе король уезжает с герцогом Немурским, и пусть Ламартина назначат первым министром. А пока будем твердо стоять на наших местах; так как все идет хорошо, то, с божьей помощью, пойдет и лучше. Только не надобно торопиться: лучше заранее хорошенько обдумывать свои действия.

К нам на помощь пришло также несколько работников из Руана. То были плотные ребята, в новых блузах и красных шапках, с ружьями и туго набитыми патронташами. При первом известии о реформе они поспешили к нам по железной дороге, и теперь мы могли немножко передохнуть, посидеть и выпить по стакану вина. Дождь пробирался даже в наши башмаки, мы окоченели и дрожали всем телом, но все это было нам легко переносить, потому что сердцу нашему было невыразимо весело при мысли о счастливом обороте дел.

С особенным удовольствием я вспоминаю, как седьмой линейный полк в час пополудни вошел в улицу Дофинэ с ружьями на плече; мы сначала думали, что вот начинается атака, и все приготовились к храброму отпору. Перриньон отозвал вниз часового и закричал:

— Смирно!

Но, поровнявшись с улицей Лоди, солдаты прошли попарно налево, разряжая ружья в воздух; в наших ушах отдавался шум, похожий на клокотанье реки, прорывающейся сквозь плотину. В то же время офицеры подошли к нам поодиночке, в маленьких клеенчатых плащах, придерживаемых эполетами, с саблями под мышкой, точно мирные буржуа, возвращающиеся домой. Мы протянули к ним руки, чтобы помочь перелезть чрез камни, и принялись кричать:

— Да здравствуют линейные полки!—Держитесь за меня, майор!—Без церемоний, капитан!—Да здравствует реформа!—Да здравствует Франция! — Мы все—братья!

Мы хотели всех их перецеловать и даже кричали им:

— Оставайтесь с нами, господа!

Но те отвечали холодным „благодарю" и продолжали итти своей дорогой по улице. Видя это, мы поняли, что народ одержал победу, и что больше бояться было нечего. Напрасно Перриньон силился удержать нас: его уже никто не слушал, и все мы беспорядочной гурьбою рассеялись из-за баррикады до самого Нового моста.

Мы воображали, что по набережной увидим отряды солдат, но все они уже ретировались, и только три офицера генерального штаба скакали во всю прыть по фасаду Лувра. Мы прошли через мост, распевая „Марсельезу" с невообразимой радостью.

Один Перриньон не переставал кричать:

— Эй, берегитесь луврских окошек! В 1830 году швейцарцы открыли оттуда страшный огонь. Послушайтесь меня, берегитесь!

Как мы, однако, ни приглядывались, все таки ничего ни видели.

Несколько студентов также соединились с нами, и таким образом мы прошли без всяких приключений сначала перед Лувром, потом вдоль тюльерийского дворца до второй арки.

Весь отряд, расположенный у Каруселя, также, повидимому, ретировался, как и 7-й линейный полк, и именно один полк ушел направо, другой—налево.

Найдется много господ, которые не поверят моему рассказу, а между тем я передаю одну чистую истину. Многие воображают себе революцию чем-то ужасным. А я скажу, что она развивается сама собою, когда ударит час правды!

Еще не забыл я, что возле тюльерийского дворца один офицер генерального штаба хотел пронестись в галоп; мы ссадили его с лошади, на которую подняли одну из студентских красавиц, очаровательно певшую „Марсельезу".

Скоро вошли мы во двор Лувра без препятствий, удивляясь сами себе и ожидая, что вот-вот изо всех окон на нас градом посыпятся пули.

В этом необъятном дворе нас было всего не более двадцати пяти или тридцати человек. Поднявшись на несколько ступенек, которые вели под арку, мы вступили на большую лестницу с правой стороны, дивно красивую лестницу, покрытую позолотой и выпуклыми украшениями. Посредине сверху висел большой круглый фонарь, сделанный из одного цельного стекла; лестница была устлана такими мягкими коврами, что шаги наши не были слышны, и каждый мог воображать, будто находится здесь один; малейший стук ружья или чиханье отдавалось здесь звучным эхом.

Таким образом мы поднялись, глядя на все с удивлением и даже с некоторым страхом, потому что нас неотступно преследовала мысль о ружейных выстрелах.

Вверху мы вошли в длинную и великолепную залу. Уж один ряд высоких окон, выходивших на двор Каруселя, придавал ей какую-то торжественность; но щедро рассыпанная везде позолота, бесконечные картины просто ослепляли нам зрение.

Всего более я удивлялся, что отсюда не слышно было ни малейшего шума с улицы. „Вот где,—думал я,—можно спать спокойно, не то, что в неугомонной улице Сен-Жак-Матюрен!"

„Эх, как тут славно жить!" — продолжал я размышлять.

Выглянув во двор, я увидел, что и там все было пусто; прекрасно выстланная мостовая, широкие тротуары, великолепная решетка, маленькая триумфальная арка из розового мрамора—все это, казалось, будто нарочно сделано для потехи глаза.

С тех пор я нередко припоминал себе эту роскошь и завидовал житью королей: не шутя, это—славное житье!

Между окнами, через каждые три шага по всей длине разрисованных стен, были уставлены раззолоченные канделябры, представлявшие вид ветвей, каждый листок которых поддерживал стеариновую свечу, зажигаемую по вечерам.

Тогда припомнились мне слова Эммануэля, сказанные шесть месяцев тому назад, именно, что внутреннее убранство Лувра не в пример богаче наружного вида; я убедился в этом собственными глазами.

Право, не могу сказать, что сталось с моими товарищами: они разделились по обеим сторонам—направо и налево, точно в церкви, и пошли вперед по целому ряду смежных зал, таких же прелестных и изящных. Мы с Эммануэлем шли одни, причем он говорил мне:

— Все это, Жан-Пьер, нажитое добро нашими предками... Надобно уважать это... Наше ведь собственное добро!

— Разумеется,—отвечал я,—мы это заработали, а если и не мы, то наши отцы—дровосеки, виноделы, купцы, земледельцы, все эти горемычные труженики, потеющие с утра до ночи для чести Франции. Глупо было бы с нашей стороны портить свое же добро, мы были бы негодяями первой руки, если бы вздумали что-нибудь отсюда похитить: ведь все это наше!

Такие мысли отрадно действовали на мою душу и побуждали к светлым и возвышенным взглядам. Но впоследствии я убедился, что такими мыслями сыт не будешь, и что далеко не все были с нами согласны; как бы то ни было, но я лучше при них останусь.

Поглядывая на все эти богатства, мы прошли далее во внутренние покои и повернули в боковую залу.

Не знаю, была ли это тронная зала, или спальня Людовика-Филиппа. Она была шире, но короче первой залы и освещалась с обеих сторон; всюду развешаны были картины, а по левую руку была проделана в стене ниша, в форме часовни, завешанная пологом с золотою бахромою. В глубине залы под занавесом я увидел — сам не знаю, что такое: трон или постель. Мы с Эммануэлем не хотели туда заглянуть, считая это неприличным.

Через несколько минут мы увидели за круглым массивным столом из розового мрамора какого-то чудака, кушавшего хлеб и сыр на лоскутке бумажки. Сначала мы его вовсе не заметили; вы можете судить, как же должны быть велики эти залы, если при входе в них нельзя было сразу заприметить человека!

— Хлеб да соль!—сказал Эммануэль этому молодцу.

На нем была широкополая шляпа и камзол темного цвета, а на плече висело ружье. Толстая физиономия его светилась радостью.

— Милости просим!—отвечал он,—вот сейчас мы отправимся выпить в погреб.

С этими словами он захохотал и замигал глазами.

Вдруг снаружи раздался страшный шум и ружейные выстрелы. Мы подошли поглядеть к окнам: вдали была видна большая толпа народа, недоверчиво направлявшаяся к Карусельной площади.

„Идите, господа,—думаем мы себе,—и ничего не бойтесь: здесь вас никто и пальцем не тронет".

В то же время мы продолжали медленно разгуливать, поглядывая на все с любопытством; мы даже вошли в какой-то театр, где на заднем занавесе был изображен приморский порт,—а оттуда вышли на балкон часовни. В этой часовне, помещавшейся внизу, были расставлены золотые сосуды, канделябры, массивные люстры и стояли ряды кресел; в передней части балкона был сделан парапет, обитый малиновым бархатом. Отсюда Луи-Филипп слушал обедню.

Порядочно утомившись, мы развалились по креслам и уперлись локтями в перила. Эммануэль закурил трубку, и долго мы оглядывали эту часовню с удовольствием. Напоследок он сказал:

— Если бы вчера, когда этот двор защищали пятьдесят тысяч человек, кто-нибудь вздумал предсказать мне, что на следующий день я буду курить трубку в этом великолепном Лувре, то я назвал бы такого господина сумасшедшим.

— Да,—отвечал я,—это в самом деле удивительно. Кто может сказать: вот это со мной случится, а вот это со мной не случится?.. Те, которые сегодня обладают силою и судят людей, завтра становятся слабыми детьми, плачут, просят пощады, забывая, что сами-то они никогда не миловали. Вот почему мы всегда должны слушаться голоса своей совести.

Вот что мы говорили в часовне и, думаю, говорили справедливо.

Мы еще не окончили своей беседы, как вдруг были ошеломлены страшным шумом: народ ворвался в покои Лувра. Это было ужасное, разнузданное остервенение. Ружейные выстрелы громко раздавались, стекла падали, и стены дрожали.

Побледнев, как смерть, мы слушали весь этот содом, и увидели пять или шесть человек, с обнаженными шеями, всклокоченными волосами и диким выражением в лице; как стая волков рыщет по лесу в ночную пору, эти люди являлись везде с сверкающими глазами, везде озирались, выходили на балкон и с яростью принимались все ломать и портить, не произнося ни слова. Эти несчастные только-что вышли из схватки; быть может, они видели смерть своих друзей, детей, братьев—и хотели насладиться мщением.

— Пойдем отсюда, Жан-Пьер,—сказал Эммануэль, взяв меня под руку.

Опять прошли мы по огромным залам.

Несколько людей, поднявшись на стулья, вынимали стеариновые свечи, чтобы сойти в погреб, как я узнал

впоследствии; другие швыряли за окно дорогие картины.

Сходя по лестнице, между валившею вверх толпою, мы увидели вдруг, что снизу поднялось ружье со штыком,—и великолепный фонарь, которым я любовался при входе, разлетелся, как лопнувший мыльный пузырь.

Внизу многие уже валялись на земле по углам, держа в руках бутылки и приставивши ружья к стенам. Что греха таить: негодяи всякого разбора, будь они из народа или вельмож, составляют позор нации и всего человеческого рода.

XXIX.

Мы вышли, не оборачиваясь назад.

Сотни других народных отрядов, в блузах, лохмотьях, мундирах национальной гвардии, с ружьями, знаменами, топорами, штыками, насаженными на палки,—беспорядочно бежали через Карусельную площадь, по набережным, по улице Риволи, со всех концов города.

Воспитанники Политехнической школы, молодые люди от девятнадцати до двадцати лет от роду, при шпагах и треуголках, надвинутых набекрень, думали было укротить этих храбрецов, одетых в тряпье и нахлынувших из предместий, но те даже и не глядели на них и продолжали бежать, выкрикивая сиплым голосом:

— Долой взяточников!.. долой продажных мерзавцев!.. Да здравствует реформа!

И это повторялось на всем расстоянии, какое только мог охватить глаз; подобно буйному наводнению, весь город повалил в нашу сторону.

— В общину, Жан-Пьер!—закричал мне Эммануэль.

Воспоминание о великой реформе опять сильно во мне заговорило, и я весь трепетал от восторга.

Ускоренным шагом стали мы пробираться сквозь массы людей, беспрестанно повторяя:

— В общину, граждане, в общину!

Многие остановились и напоследок решились следовать за нами, дружно вторя нашему крику:

— В общину!

Но высокие окна тюльерийского дворца, выглядывавшие из-за решеток, листы бумаги, летавшие по воздуху, знамена, крики, ружейные выстрелы—вся эта дикая картина скоро оторвала от нас недавних союзников; они сожалели о потерянном времени и опять последовали за бурным потоком.

Нас было не более десяти человек, когда мы подходили к ратуше, направляясь вдоль по набережным и прыгая через баррикады.

Мы добрались до главного входа в ратушу, где национальные гвардейцы сделали вид, будто хотят нас остановить; но, когда мы зарядили ружья, они отошли прочь и очистили нам дорогу.

Мы взошли по большой лестнице в ратушу, в которой совершалось в дни первой революции столько ужасных, навеки памятных событий, в которой раздавалось столько святых речей в защиту правосудия. Вспоминая об этом тяжком прошедшем, мы несколько успокоились, но в то же время находили себя ничтожными сравнительно с великими людьми общины, которые завоевали нам почти все наши права. Да, все эти воспоминания старины невольно просыпаются под высокими сводами здания; так и кажется, что вот наверх гордо поднимаются защитники народа с словами:

— Мы здесь у себя дома! Когда Франция говорит отсюда Европе, все ее слушают!..

Какое-то дыхание силы и величия пахнуло здесь на меня.

Но особенно неотвязчиво теснятся воспоминания о мертвых на большой внутренней террасе, освещенной сводом и наполненной желтыми, как воск, телами муниципальных солдат, заснувших навеки,—в зале, где первые революционеры убивали сами себя с отчаянья, что народ их оставил...

Мы приостановились и услышали голоса в конце коридора по левую руку. Через несколько минут мы отправились туда; я шел впереди с ружьем на плече. Ста-

рый, малорослый, седой генерал, с большим крестом на груди, повстречался нам в коридоре и, схватив меня за руку, спросил:

— Вы куда идете?

— Слушать других,—отвечал я с удивлением.

— Теперь идут совещания,—заметил он.

— И прекрасно,—отозвался Эммануэль,—мы также хотим быть на совещаниях.

Видя, что это не повело ни к чему, он сказал мне, продолжая удерживать меня за руку:

— Я старый солдат 92 года.

— Тем лучше,—отвечал я,—значит, мы с вами одних убеждений; поэтому-то мы и желаем быть допущенными к совещаниям.

Тот не отвечал больше ни слова и ушел.

Мы вошли в залу, из которой слышались голоса. Посредине был поставлен стол, имевший форму подковы, а с другой стороны сидели три человека в черной одежде, оборотившись спиною к ряду окон, выходивших на площадь. Эти господа что-то писали. Около тридцати других лиц наполняли залу; все говорили и кричали, а двое из них, стоя на стульях, произносили речи.

Мы поместились за столом в форме подковы, как раз насупротив господ в черном платье. После узнал я, что один из них назывался Гарнье-Паже. У него были длинные волосы, высокий лоб, несколько приплюснутый нос и выдававшийся вперед подбородок. Он был бледен. Когда мы вошли с нашими ружьями, висевшими на плечами, Гарнье-Паже поглядел на нас с удивлением.

Говор толпы слышался и сверху, и снизу, мешаясь с криками произносивших речи. Трудно было разобрать что-нибудь, и я напрасно прислушивался к этим крикливым говорунам. Один из них, с правой стороны, был высокий сухощавый мужчина с длинным носом и седыми волосами, спускавшимися низко на затылок. Этот кричал самым неистовым голосом. И при каждом вскрикиваньи щеки его надувались, руки его ши-

роко растопыривались, и голос выходил из самой глубины груди.

Это продолжалось минут десять. Вокруг нас все повторяли:

— Гарнье-Паже назначен парижским мэром.

Опустив приклады ружей на пол, мы стали терпеливо ждать, что будет. Один из тех, которые последовали за нами из тюльерийского дворца, был без рубашки и в потертой, открытой на груди, блузе. На него-то особенно поглядывал Гарнье-Паже и потом на меня. Я увидел, что это его не удивляло, но он не говорил ни слова. Однако, спустя несколько минут, писавший по левую руку сказал ему что-то вполголоса; тогда он поднял руку, а все присутствующие принялись кричать:

— Тише!... тише... Слушайте!

Говорившие речи сошли вниз,—вся зала смолкла.

Гарнье-Паже начал читать бумагу, поданную его товарищем. Я помню, что она начиналась словами:

„Король Луи-Филипп отказывается от престола...“ Но не успел он покончить этой фразы, как со всех сторон поднялись крики:

— Нет!.. Неправда!.. Он не отказывается!.. Его прогнали!

Гарнье-Паже побледнел еще больше; он делал знаки замолчать, но шум мог уняться не сразу.

Наконец, когда сделалось немного тише, Эммануэль закричал ему прямо в лицо:

— Нам нужны гарантии!

Это сильно его озадачило. Все навострили внимание.

— Какие гарантии?—спросил он.

— Провозгласите республику!—повторил Эммануэль.

— Но какую же республику?—допрашивал Гарнье-Паже,—с избирательною или законодательною властью?.

Я понял, что Гарнье-Паже был довольно тонкий и увертливый человек, знавший, что народ еще не имел времени уяснить себе своих требований. Эммануэль смешался, но кто-то другой крикнул за него сзади:

— Все равно! Мы подумаем после... Всетаки объявите республику, остальное нетрудно будет устроить!

И за ним все подхватили:

— Да... да... республику!

Все это так сильно врезалось мне в память, что я будто теперь вижу и слышу это крикливое собрание. В рассказе своем я ни на волос не отступаю от правды. Жаль только, что многие говорили все вместе, произнося слова, которые никак нельзя было понять. Гарнье-Паже притворился, будто слушает весь этот гам, но я видел ясно, что он только обдумывал, как бы выйти из своего затруднительного положения. Наконец, он поднял руку и, когда все смолкли, сказал грустным голосом:

— Господа, вы сами понимаете, что в такой суматохе ровно ничего нельзя сделать. Я приглашу господ секретарей итти со мной в смежную комнату, и, когда наше решение будет окончено, мы возвратимся прочитать его вам.

В то же время, не дожидая ответа, он встал вместе с двумя своими товарищами. Это произвело шум по всей зале. Возле них в конце стола находилась дверь. Когда они направились к ней, держа свои бумаги под мышкой, человек без рубашки сказал мне на ухо:

— Он изменяет... Не застрелить ли его?

Но, несмотря на мое сердитое настроение, мысль оскорбить такого человека показалась мне злодейской, и потому я отвечал:

— Не нужно, ведь это Гарнье-Паже.

Все заговорили о Гарнье-Паже, который во время этой болтовни ушел в другую комнату с своими секретарями. Дверь за ними захлопнулась; я думаю, эти господа от души хохотали, что могли сыграть с нами такую штуку, а мы стояли в зале ни дать, ни взять— как стадо баранов.

Всякий принялся горланить, не слушая своего товарища, так что было и скучно, и досадно слушать этот гвалт.

— Пойдем отсюда!—сказал мне Эммануэль,—что нам делать между этими шальными крикунами?

Мы вышли, рассердившись не на шутку, что даром потеряли столько времени.

XXX.

Хорошо мы сделали, что ушли: не успели мы еще перебраться за решетку, как увидели бесчисленные толпы народа, бежавшие с набережной Пеллетье, из

улиц Ванери и Танери, с Аркольского моста; на концах штыков эти люди несли разное платье, обшитое галуном, женские шляпки и тысячи других тряпок, а из

среды их торчали красные и трехцветные знамена, вымоченные дождем, замазанные грязью. Все это летело стремглав, пело, стреляло из ружей и, к своему стыду, также спотыкалось, потому что все погреба Лувра были до-суха опорожнены, и полуотпитые бутылки швырялись народом в стены.

Как ни верти, а надобно сознаться, что очень многие вели себя отъявленными негодяями. Кто напивается в подобный день до такой степени, что не может держаться на ногах, тот недостоин стоять за свободу.

Но таков уж видно человек. Эти несчетные толпы высыпали на площадь, как рой пчел, выбирающий дерево, где бы усесться! Мы успели еще дойти до Цветочной набережной, по мосту Богоматери, и здесь приостановились, чтобы оглянуться назад. Все пространство чернело человеческими головами; все суетились, все теснились к дому общины, и крики, эти крики народной толпы, отдававшиеся в ушах, как шум моря, эти нескончаемые крики с каждой минутой, казалось, становились свирепее и расходились на далекое расстояние.

Мы с Эммануэлем прошли перед Дворцом юстиции, потом через мост св. Михаила, везде проталкиваясь сквозь массы разного люда, спешившего на Гревскую площадь. Мы не нуждались в передаче друг другу своих мыслей: они сами наполняли наши головы. Слова Гарнье-Паже „какую вам республику?" теперь представлялись мне очень умными. Припоминая себе вычитанное из книги Перриньона, я рассуждал сам с собою:

„В самом деле, какую нам нужно республику: учредительную? Директорию? Консулов? Или что-нибудь совершенно новое? Но, если нам нужно что-нибудь совершенно новое, всетаки надобно знать, что такое именно. Ну-ка, Жан-Пьер, ты чего желаешь?"

Я затруднялся ответом и думал:

„Если бы возле меня был Перриньон, то он разъяснил бы мне мои сомнения.

Меня беспокоила также участь доброго старика Перриньона, которого я любил, как самого себя. Мы расстались друг с другом против воли. Что-то с ним сталось?

Эммануэль молчал, поникнув головою. Наступила ночь. Толпы народа продолжали бежать и кричать „да здравствует свобода!", и ни одна душа не знала, что у нас уже было временное правительство.

В Бумажной улице мы увидели, что наше *кабуло* было заперто.

— Пойдем дальше!—сказал мне Эммануэль.

Улицей Сен-Жак-Матюрен мы отправились к монастырю Сен-Бенуа. Уже совершенно стемнело, а между тем ни один фонарь не освещал нам дороги. К счастью для нас, ресторан Обера не был заперт. Мы вошли. Два кенкета горели в зале по левую руку, и несколько студентов ужинали молча. Господина Обера не было дома. Мы поставили ружья в углу, у окон; слуги не замедлили к нам явиться.

А на улицах, где-то очень далеко, по временам раздавались крики, шум, выстрелы; звон набата не умолкал еще до сих пор, но в то время, как мы очищали наши тарелки, громового колокола Богоматери вдруг не стало слышно, отчего произошло какое-то затишье: уличный шум и шаги людей, шедших к монастырю, доносились до нас слышнее.

В конце обеда Эммануэль спросил меня:

— Что мы будем делать сегодня ночью?

— Право не знаю,—отвечал я,—ведь все уже кончено.

— Я пойду переоденусь,—сказал он,—мои сапоги сильно намокли и жестоко давят мне ноги.

— Пожалуй, пойдем переоденемся,—согласился я,—но этак через три четверти часа соединимся опять где-нибудь вместе.

— Да, вот что, приходи в страсбургскую пивную на улице Ла-Гарп.

Мы вышли. В эту самую минуту толпы людей уже наводнили эту часть города и кричали: „Да зравствует

Франция! Да здравствует временное правительство!“ Студенты расхаживали по монастырю, толкуя о Ламартине, Ледрю-Роллене, Араго. Мы слушали. У ворот Сен-Жака, при расставании, Эммануэль сказал мне:

— У нас, кажется, уже есть временное правительство, и я совершенно доволен: все лучше, чем ничего.

Мы оба пошли по улице Сен-Жака, но в разные стороны. Я принялся шагать через каменные завалы до угла улицы Мазарен и уже готовился здесь повернуть, как вдруг увидел перед собою обход из трех человек под командою капрала в круглой шляпе, длинной шинели и с маленьким квадратным фонарем в руке. Поднося его к моей физиономии, капрал встретил меня таким восклицанием:

— Ба! Это ты, Жан-Пьер? Очень рад тебя видеть, парнишка!

Разумеется, говоривший был Перриньон; он устроил караул в улице Сен-Жак, в конце Сенного переулка, для покровительства всем честным людям и теперь ходил своим первым дозором.

Всякий поверит, что объятия, в которых я сжал его, были искренни. При этом я сейчас же изъявил желание принадлежать к его караулу, но прибавил, что нужно предупредить об этом Эммануэля. Мы были у входа в улицу Матюрен, и до моей квартиры оставалось не более ста шагов. Я поднялся к себе наверх, переоделся и отправился в страсбургскую пивную к Эммануэлю.

Было, я думаю, около шести часов. Ни один газовый огонек не блестел по улицам, и только на небе светили две—три тусклые звездочки; мелкий холодный дождик брызгал в воздухе; со всех сторон раздавались караульные крики:

— Кто идет? Кто идет?...

В темную ночную пору это производило особый эффект. Я смекнул, что парижане были неглупый народ и внимательно сторожили себя против Бюжо, тогда как пьяницы спокойно храпели по своим постелям.

Все это Эммануэлю было очень приятно от меня узнать; мы вышли из пивной ощупью.

Во многих местах виднелись разложенные огни, вокруг которых на камнях сидели люди с трубками в зубах и ружьями за плечами, разговаривая друг с другом. Огни эти освещали неподвижных часовых наверху баррикад и дома направо и налево. Красный, точно молния, свет поднимался до самых крыш и затем спускался к костру,—и все становилось темным.

Груды камней довольно часто нас останавливали; не раз ноги наши вязли в глубоких грязных лужах, но, несмотря на все это, мы дошли таки до нашей гауптвахты на улице Сен-Жака. Эта гауптвахта была из лучших в нашей части города: здесь были устроены нары, сошки для ружей, а в просторном камине, помещавшемся направо у входа, огонь пылал так ярко, как в пильных заводах нашего края, что было очень приятно, особенно в подобную дождливую и туманную погоду.

Вокруг толстого и дубового стола сидело человек десять или пятнадцать рабочих и национальных гвардейцев. Они принесли себе кружку вина и большой пирог, от которого всякий отрезывал в волюшку.

— А, вот и подкрепление!—весело вскричал Перриньон, увидя нас и пожимая нам руки.—Ну, что, ребята, вы уже закусывали?

— Мы теперь от Обера,—отвечал Эммануэль.

— Ну, слушайте же! Ружья в сошки! Через четверть часа вы пойдете в караул.

Другие продолжали пить, хохотать и рассказывать о всех своих приключениях в течение трех суток. Один говорил об атаке Шато-д'О, другой—о бегстве короля, третий—о сожжении трона на Бастильской площади, словом, всякий был свидетелем какого-нибудь замечательного происшествия.

— Видел я виды, детки,—рассказывал Перриньон.— 1830-й год открыл мне всю низость человека. Ну, а как вы думаете, сколько было защитников свободы за баррикадами вчера и третьего дня? Несколько сотен. А завтра

вы увидите, что победители тысячами тысяч повылезают из земли, словно черви после дождя; они станут махать саблями, горланить во весь рот: эй вы, стройся! Барабанщик, бей наступление! Хоть бы святое слово „свобода“ могло превратить эту низость в величие, но и на это плохая надежда!

Так говорил Перриньон, сидя на нарах, а мы с Эммануэлем молча его слушали; позади нас Кантен и Вальси спали сном праведников.

Надобно знать также, что каждую минуту патрули возвращались на гауптвахту и приводили с собой пленников. То были солдаты из Сенной казармы и других мест, рассыпавшиеся поутру и думавшие ночью бежать. Но эти несчастные ребята, родом—кто из Бретани, кто из Нормандии, из Эльзаса, не успевали отойти от своих переулков пятидесяти шагов, как уже слышали крик „кто идет?“. Я думаю, они немало удивлялись, как хорошо отправляли их с ужбу часовые из народа; в фуражке или шляпе и с оружием наготове, эти часовые кричали им:

— Какой пароль?

Бедные солдатики шли медленно и слышали крик:

— Ступай на гауптвахту!

А там, у дверей гауптвахты, граждане, в восторге от своей победы, кричали им:

— Сюда, товарищи!.. Обогрейтесь!.. Садитесь!.. Не хотите ли винца?..

Кружка и ковш переходили к солдатам, которые, конечно, не отказывались от угощений: пробыв целый день где-нибудь в сарае или на дровах, они были вовсе не прочь усесться за столом рядышком с защитниками порядка.

— Ну, что же вы станете теперь делать?—спрашивали их граждане.

— Очень просто,—отвечали обыкновенно они,—мы хотим разбрестись по деревням; правда, мы вовсе не ожидали этого отпуска, но нашим старым матерям ни-

сколько не будет противно обнять своих сыновей раньше положенного семилетнего срока.

Мы все находи и это очень естественным и думали, что на будущее время весь народ составит национальную гвардию, которая заменит постоянное войско. Этого мы хотели прежде всего. Чего бы могла бояться Франция, если бы все мы были воинами? Кому от девятнадцати до двадцати пяти лет от роду—ступай на войну в случае надобности, а кому от двадцати пяти до пятидесяти—отправляй внутреннюю службу. О, тогда, конечно, немцы и русские оставили бы нас совершенно в покое! Они вспомнили бы, какого мы горя натерпелись в продолжение двадцати лет за то, что им вздумалось вмешиваться в наши дела!

Наконец, нужно было сменить часовых; нас было всего пять или шесть человек, которых Перриньон повел в улицу Сен-Жака. Я сменил часового у первой баррикады; отданный пароль был: свобода и общественный порядок.

Другие ушли, а я остался один. Эта темная ночь также никогда не изгладится из моей памяти: товарищи мои, взвалив ружья на плечи, уходили на свои места, и шаги их терялись где-то в отдалении; крик „кто идет?"—беспрестанно слышался со всех сторон, повторяемый эхом зданий и как бы желавший сказать: не спите, граждане, стерегите отечество и свободу!

А там, со стороны Гревской площади, слышался шум, и ружейные выстрелы по временам тревожили ночную тишину, нарушаемую только журчаньем дождевой воды по сточным трубам; вверху баррикады разбитый фонарь горел желтовато-красным пламенем, которое выглядывало иногда из-за мокрого стекла, освещая лужи. Признаюсь, мне как-то странно было глядеть на все это.

Я стал прислушиваться. На улице все молчало; только вдали слышались караульные пароли, хохот, шаги патруля, стук ружейных прикладов о каменные плиты, смена пикета и получасовой звон старой Сорбонны. Сколько мыслей толпится в голове после такого дня, как вчерашний! Как все, чего вы насмотрелись, возоб-

новляется в вашем воображении: этот роскошный тюльерийский дворец, эта суматоха по набережным, муниципальные, ратуша!

Ну, что-то будет теперь—спрашиваешь невольно себя. К счастью, у нас есть Ламартин; он работает; ему помогают около десятка других честных людей. Они берегут Францию, успокаивают народ, несут на своей шее все наши заботы!

Да, то великие воспоминания для такого простого человека, как я! Часто я сам себя спрашиваю:

„Неужто ты видел все это, Жан-Пьер? Будто бы ты караулил наверху этой баррикады? Уж не пригрезилась ли тебе вся эта кутерьма?..“

Уже около получаса я прислушивался к ночной тишине, раздумывая о невероятных переворотах, происшедших в какие-нибудь трое суток,—и был уверен, что так же спокойно пройдет все остальное время моего караула, но вдруг заслышал вдали, позади себя, со стороны Сорбоннской площади, шум приближавшихся шагов. То не мог быть патруль, потому что эти господа прошли мимо нашей гауптвахты, не останавливаясь. Они говорили вполголоса и, подойдя к высокой баррикаде в конце улицы, стали искать прохода.

Я зарядил ружье и крикнул:

— Кто идет?

Трое остались позади, а четвертый—воспитанник политехнической школы—стал карабкаться по камням и сказал мне:

— Это господин Араго; он идет в заседание временного правительства.

Разумеется, имя господина Араго было мне небезызвестно; но в подобную ночь могло найтись много охотников между нашими врагами выдавать себя за Араго, Ламартина или Ледрю-Роллена. Следовательно, поверить на-слово было не очень благоразумно; вот почему я закричал им:

— Ступайте на гауптвахту за паролем.

Воспитанник слез; три другие особы подошли ко мне так близко, что находились не более как в четырех или пяти шагах от моего поста; тогда как воспитанник политехнической школы принялся бежать по улице, Араго стоял у фонаря, задуваемого ветром.

Как теперь вижу этого несколько сутуловатого старика, в длинном плаще, круглой шляпе, со сложенными назад руками и поникнувшей головой.

Вовсе не глядя на меня, он смотрел перед собою и не трогался с своего места: вижу его в этой полутени, со сжатыми губами, из которых нижняя выдавалась несколько вперед, слегка согнутым носом, густыми седыми бровями. Он был задумчив; о чем только ни передумывала эта умная, почтенная голова!

Товарищи его стояли поодаль и также молчали.

Для Араго не было ни нас, ни камней, ни ночи, ни ветра, ни дрожащего фонаря, ни серого тумана... Своею мыслью он обнимал, без сомнения, всю Францию, повсеместный беспорядок, рассеянные войска; он думал, сколько нужно будет употребить мужества, чтобы всюду восстановить мир вместе с свободой!..

Я не знал этого человека, я не знал, что это—величайший ум нашего времени, самый непоколебимый и справедливый. Мне было неизвестно, что с самой ранней молодости он неутомимо работал для славы и чести своей родины, что все люди говорили об Араго, как о самом гениальном человеке в Европе. Нет, я не знал ничего этого! Но уже одна наружность этого честного, задумчивого старца возбуждала во мне глубокое уважение; в голове моей роем закружились мысли о величии, силе, благородстве души, твердой правде; узнав после, какой великий человек стоял передо мною, в туманную ночь, посреди удивительных происшествий, о которых долго будут говорить люди, я уже никогда не могу забыть Араго: он живет передо мною, словно нарисованный, между камней, при тусклом мерцании фонаря, задуваемого ветром...

Наконец, воспитанник политехнической школы возвратился с паролем, который и передал мне на ухо:

— Свобода и общественный порядок!

— Проходите,—отвечал я.

К нам подошел также Перриньон вместе с двумя другими нашими товарищами. Все они стояли позади. Араго и его спутники, не говоря ни слова, прошли налево, в узкий переулок. Перриньон также удалился.

Тогда было, по крайней мере, семь часов. Впоследствии мне часто доводилось слышать, будто Араго заседал в ратуше вместе с членами временного правительства. Повторяю, что я рассказываю только сущую правду; в общину Араго мог притти никак не раньше половины восьмого; на улицах было темно, хоть глаз выколи; быть может, ему приходилось перелезать не через одну баррикаду, пока он добрался до нашей; очень может быть, что он жил далеко,—об этом я ничего не могу сказать, но рассказываю только то, чему сам был свидетелем. Я стоял на карауле до восьми часов, и больше я не могу припомнить ни о чем, особенно замечательном, до самой смены.

Когда я возвратился, Перриньон начал толковать мне о временном правительстве, о Ламартине, Араго, Дюпон-де-л'Ере и о прочем. Он говорил также, что здание общины было в довольно плохом виде, что от старых стен 92-го года осталось не более трех—четырех обломков, которые впрочем могут устоять против какого угодно пожара. Далее, старик говорил, что у нас не было недостатка ни в камнях, ни в известке, но если мы станем менять архитекторов, если одному из нас захочется выстроить казарму, другому—церковь, третьему фаланстер, то из всего этого ровно ничего не выйдет.

А я просто помирал от усталости и скоро заснул богатырским сном, но все еще помню, как сильно боялся старик, чтоб к нам не нахлынули гости, вроде коммунистов или кабетистов с прочей подобной им ватагой, которая впоследствии так удачно исправляла

должность наших недругов. Между четвертым и пятым часом мне опять нужно было стоять в карауле. С рассветом опасность миновала, и мы разбрелись во-свояси. Я поднялся в свою комнату, где спал сплошь до одиннадцати часов без просыпа.

XXXI.

Нужно было видеть, что за движение поднялось 25 февраля на парижских улицах между баррикадами! Толпы народа точно вырастали из земли, крича во все горло „победа"! Барабаны били отбой; честные люди убеждали граждан соблюдать порядок; двери винных лавок были отворены настежь; все пили, поздравляя друг друга с завоеванием республики; к углам улиц были пришпилены три или четыре прокламации временного правительства, в которых говорилось о палате депутатов, общине, полицейской префектуре.

Наша компания — Эммануэль, Перриньон, Вальси и я—согласилась еще прежде собраться к десяти часам утра в страсбургской пивной; но, проспавши так долго, я не надеялся найти кого-нибудь из них в условленном месте. Мимоходом я уже слышал крики:

— Эй, берегитесь! Не позволяйте разрушать ваших баррикад... Место народа—за баррикадами... Собирайтесь на Гревскую площадь... Поглядывайте на общину... Смотрите, чтобы с вашей революцией не сделали того, что было в 1830 году!...

Барабаны не умолкали. Какие-то господа неизвестного роду и племени махали саблями и кричали:

— Стройся!

Некоторые слушались их и расхаживали с ружьями на плечах, отрядами в пять, шесть и в десять человек, тогда как начальник их шагал впереди, поглядывая, идут ли в порядке его добровольные подчиненные.

Главное было иметь барабан; чуть только бил барабан, люди принимались маршировать с большим удовольствием.

Но, к несчастью, не все хотели строиться в порядок: входя в страсбургскую пивную, я увидел такой содом, перед которым вчерашняя суматоха в ратуше была сущим вздором. Все вертелось, говорило, горланило. За парадным столом три или четыре оратора — как их величали—произносили речи; направо кто-то кричал о клубах, налево—о Венсене, впереди—о фаланстере, сзади — о гарантиях, о новом знамени, о правах труда, словом—о чем хотите. Все это было так ново, так странно, что если бы они говорили поодиночке, то, конечно, их можно было бы послушать из любопытства; но беда-то именно была в том, что они говорили все сразу, не останавливаясь.

Итак, я глядел на все с удивлением. В это самое время Эммануэль, Перриньон и Вальси, не дождавшись меня, выходили из пивной. Мы отправились все вместе в *кабуло*. Перриньон был что-то не в духе и шел впереди, опустивши на грудь свою тяжелую голову. Наконец, несколько очнувшись, он сказл нам:

— Ну, детки мои, уже затеялось скверное дело. То, чего я так боялся, сбывается. Эти сен-симонисты, кабетинцы, фурьеристы, коммунисты всякого разбора теперь ограничиваются только болтовней: они хотят привлечь нас к себе лаской. Но ведь все они не могут быть одинаково правы: если мы окажем предпочтение какой-нибудь одной партии, то все другие зададут нам лихую трепку; если ладить со всеми партиями, тогда у нас будет до двадцати враждебных правительств; наконец, попробуй нация поддерживать временное правительство, против нее восстанут тысячи врагов, и врагов опасных, потому что все они считают себя правыми. Теперь все еще спокойно: они довольны уже тем, что могут болтать; но не дальше, как завтра, они разозлятся, и эта злость будет увеличиваться до самого дня битвы. Видел я эти штуки. Будем же под-

держивать и защищать временное правительство: в нем наше единственное спасение!

Вот что говорил нам старик. В этот день мы, по обыкновению, обедали в харчевне; потом я возвратился домой, желая уведомить мою добрую, старую тетушку Бале о завоевании республики.

На следующий день, между вторым и третьим часом я увидел, что народ валил к набережным; не зная, в чем дело, я взял ружье и дошел до Аркольского моста. Толпа народа с каждой минутой становилась все гуще, так что по площади Богоматери уже трудно было пробираться. Впрочем, я успел к трем часам дойти до общины; здесь я вскарабкался на груду камней, чтобы узнать, откуда происходило такое необычайное движение. С удивлением глядел я на это множество голов, штыков, разных знамен, женщин, детей и стариков!

По временам какие-то физиономии показывались в высоких окнах ратуши. Страшный, оглушительный шум расходился отсюда на далекое расстояние, до набережной Делорм, а со стороны Лувра отдавался бог весть где-то за Новым мостом. И сколько народу собралось здесь—видимо-невидимо! Все точно ждали чего-то необыкновенного, все казались спокойными, разве иногда там и сям слышалась республиканская „Марсельеза“, да женщины, жалуясь на сырую погоду, упрашивали своих итти домой. Но никто не трогался с места; все глаза пристально смотрели туда, где помещалось управление мэра.

Это продолжалось уже более получаса после моего прихода.

Вдруг по всей площади пробежал шумный говор; пение утихло. До этой минуты я сидел, но теперь поднялся на ноги, и поверх плотной крыши фуражек, шляп, шапок, знамен увидел нескольких господ, в трехцветных шарфах вокруг поясницы, с обнаженной головою. Они спускались по парадной лестнице ратуши. Народ заговорил вполголоса: „Это Ламартин, Дюпон-

де-л'Ер, Луи Блан“ и проч. Здесь-то в первый раз мне удалось видеть членов нашего временного правительства. Дюпон-де-л'Ер был седой, как лунь, и хилый старец; его вели под руки. Вид этого согбенного, престарелого человека, пришедшего стоять за права народа, глубоко трогал сердце. Другие, сравнительно с ним, казались еще очень молодыми.

Все они спустились по мрачной лестнице до какой-то эстрады, по ступенькам которой взошел Ламартин. Это был высокий, стройный мужчина; голова его уже начинала седеть, а вокруг его тощего туловища был обвязан трехцветный шарф; в руке он держал какую-то бумагу, в которую глядел, но ничего не читал. Зато говорил он очень много, и, несмотря на шум толпы, я слышал его так хорошо, как если бы стоял под самым его носом.

— Граждане,—говорил он,—временное правительство республики является к вам с добрыми вестями. Королевство не существует и заменяется республикой. Народ будет пользоваться своими политическими правами. Теперь уже открыты национальные мастерские для безработных рабочих. Армия переформируется. Национальная гвардия неразрывно соединяется с народом, чтобы восстановить порядок той же рукой, которая завоевала свободу.

— Наконец, граждане, временное правительство лично хотело известить вас о последнем декрете, постановленном и подписанном в настоящем памятном заседании: смертная казнь за политические преступления отменяется. Это самый благородный декрет, господа, который когда бы то ни было мог быть постановлен народом после его победы. В нем виден характер французской нации, который вырывается невольным криком свободы из души правительства. Мы сообщаем этот декрет вам и думаем, что и сама заслуженная слава народа заключается в его собственном великодушии!

Все это Ламартин произнес прекрасным, сильным и звучным голосом, который расходился по площади на

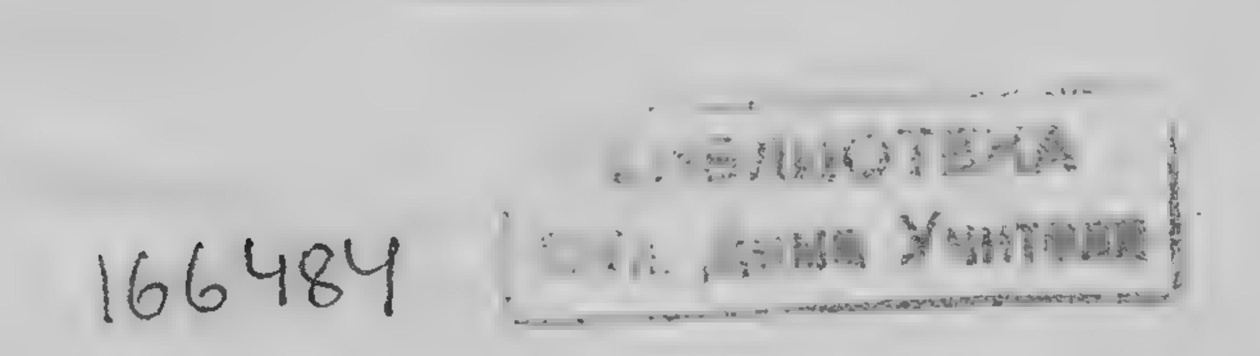
такое далекое расстояние, на какое только может быть слышен голос человека. Когда он окончил, народ закричал со всех сторон и изо всех сил: „Да здравствует республика! да здравствует Ламартин! Да здравствует временное правительство“! Эти крики, поднимаясь до самого неба, разнолись по набережным, по площадям, и улицам, как глухие перекаты грома.

Никто и не воображал тогда, что республика должна была рухнуть! Все считали ее такою сильною и вечною, как самая правда. Но вышло иначе! Быть может, мы сами еще не были достойны свободы!

Все это происходило 25 или 26 февраля—наверное не помню, но уверяю, что эти происшествия я видел собственными глазами.

Теперь нужно было бы порассказать об июньской битве, в тысячу раз более ужасной, чем самый бой при Ватерлоо, потому что французы дрались тогда с французами, и победа каждой из двух сторон должна была одеть в траур наше отечество.

Но страшную историю я откладываю до другого времени, чтобы каждому дать время хорошенько обдумать мой настоящий рассказ; да притом мне и самому нужно собраться с воспоминаниями.



2-50